СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА

КНИГА ДЛЯ ВНУЧЕК

DK
275
A4
A35
1981
****

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Подсознательно готовясь принять мысль о возможности поехать в СССР я написала Олиной тетке в Калифорнию, спрашивая ее, возьмет ли она на себя полную ответственность за племянницу, если со мною случится что-либо неожиданное. Моей первой мыслью было не брать Олю с собой. Но ответ мне ничем не помог. В отличие от своего порывистого, искреннего брата, его сестра всегда подолгу обдумывала каждый шаг и слово, нередко советуясь с адвокатом. Теперь она просила, чтобы я предоставила ей письмо от врача, характеризующее мое состояние здоровья: была ли действительно какая-то серьезная опасность?.. Я вдруг совершенно разъярилась на весь американский образ жизни и мышления — такой деловой, такой бессердечный, — как казалось мне в этот момент. Не могла же я сказать ей, что вдруг смогу поехать в СССР! Смогу?.. Теперь надо было подумать об этом всерьез.»

- Светлана Аллилуева
  - Путешествие на родину
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - ЭПИЛОГ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11

Светлана Аллилуева
Книга для внучек

Путешествие на родину

Доверьте прошлое милости Божией,
Настоящее — Его любви,
Будущее — Его провидению.

Св. Августин

Путешествие на родину после семнадцати лет жизни на Западе было шагом непредусмотренным и незапланированным. В книгах всегда все выглядит таким логичным, так гладко все идет. Все объяснения — сделанные позже — выглядят такими убедительными. В жизни же все неожиданно, случайно и часто необъяснимо. Как тот первый звонок моего сына в середине декабря 1982 года — первый за семнадцать дет.

Взяла я трубку в нашей снятой в Кембридже мансарде, в Англии, и вдруг услышала по-русски: «Мама, здравствуй!» И не поверила. Голос был каким-то неузнаваемым, совсем иным, грубым. И только когда он рассмеялся над моей торопливой путаницей в английском и русском языках, смех его прозвучал знакомо. И я поняла, что да, это сын.

Но с этого момента все пошло к одной неминуемой цели: увидеть его, увидеть дочь и двух внуков, потрогать их всех руками… Полтора года прошло до того дня, когда мы действительно отправились в СССР, но началом-то всему был тот никак не предвиденный телефонный звонок. А до этого момента самая мысль о путешествии на родину была для меня полным абсурдом, так как не существовало у меня для этого никаких причин.

Все в жизни смешано. Рациональность политиков, умные речи и книги академиков, квалифицированные комментарии телевизионных обозревателей, интеллигентные рассуждения о вере — и необъяснимые поступки, продиктованные сердцем, ежедневно происходят по обе стороны сегодняшнего разрезанного на две части мира. Очень, очень похожи одна на другую эти две непримиримые половины — как их правительства со всеми их агентствами и пропагандой, так и жизнь людей обыкновенных. И если мне удавалось сравнительно легко приспосабливаться и тут и там, и снова тут, и снова там естественно входить в строй иной культуры, так это, несомненно, от этого сходства.

Америка и Советская Россия просто не знают, насколько они похожи. Различия постоянно показываются и безумно

раздуваются телевидением, кино, книгами пропагандистов и поверхностных журналистов. Но один старый человек — Арманд Хаммер — вот уже несколько десятилетий продолжает свой трудный подвиг, убедить мир, как необыкновенно близки и нужны друг другу две огромные страны. И если мой голос неавторитетен, то к голосу Хаммера следовало бы прислушиваться.

Однако ложь сильна и живуча, искусственная вражда основана на ложных страхах, и пропаганда раздувает пламя взаимного недоверия вот уже семьдесят лет, исключая время второй мировой войны. А жизнь-то идет своим путем в обеих странах. Люди любят, женятся, рожают детей, создают книги, музыку, искусство — все так же, все так же… Повторяют прошедшее, взывают к будущему, молятся Богу, хоронят ушедших, обращая мало внимания на политические этикетки, на истерику, поднятую в связи с сегодняшними новостями. И здесь и там надо вырастить детей честными, искренними, верующими в Добро, в Любовь, в Прощение, потому что без этого человечество неминуемо погибнет — какими бы высокими идеологиями оно ни прикрывало взаимную вражду и ненависть. Сменяются поколения, родители по обе стороны так называемого железного занавеса с одинаковыми усилиями стремятся поддержать в молодых искру божественного огня, научить их самопожертвованию не ради собственного комфорта — среди холодильников, автомашин и телевизоров — а ради будущего этой планеты. Научить их любить природу и землю, животных и растения, детей и стариков.

Русская поэтесса Наталия Крандиевская сказала об этом вечном потоке жизни в эпитафии,[1] которую ее близкие после ее смерти поместили на могильном камне над нею:

Уходят люди и приходят люди.
Три вечных слова: было, есть и будет,
Не замыкая, повторяют круг.
Венок любви и радости и муки
Поднимут снова молодые руки,
Когда его мы выроним из рук.

Да будет он, и легкий и цветущий,
Для новой жизни, нам вослед идущей,
Благоухать всей прелестью земной,
Как нам благоухал.
Не бойтесь повторенья!
И смерти таинство и таинство рожденья
Благословенны вечной новизной.

Сын Наталии Васильевны, московский физико-химик Федор Федорович Волькенштейн когда-то очень давно заставил меня сесть писать историю моей семьи. «Двадцать писем к другу» были адресованы к нему и без его настоятельного напора не были бы написаны. Его уже, к сожалению, нет в живых. Но мы еще встретимся с ним далее на страницах этой книги — последнего тома моего автобиографического повествования,[2] хотя я бы с большим удовольствием писала бы короткие рассказы более оптимистического характера. Но так уж вышло.

И будет уместно именно здесь выразить глубокую признательность Ф. Ф. Волькенштейну — ученому и литератору, — наставившему меня твердой рукой на путь писательства.

С этим ведь, по существу, и пришло все новое: переосмысление жизни, поиски правды и новых путей и бесконечные странствия по земле.

Глубокий поклон и спасибо за все незабвенному другу.

1
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ

Сентябрьским ясным утром 1984 года я ехала поездом из Кембриджа в Лондон, везя с собой в сумке письмо в советское посольство с просьбой о разрешении возвратиться к моей семье. Не имея понятия о том, где находится посольство, я нашла адрес в телефонной книге на Ливерпульской станции, а затем спустилась в метро.

На широкой улице, обсаженной старыми красивыми деревьями, находилось множество посольств, но нужных мне номеров не было. (Намного позже я узнала, что советские намеренно сняли номера — из соображений предосторожности.) Однако по виду и одежде людей, перебегавших улицу от одного здания к другому, можно было догадаться, что советское посольство находилось именно здесь.

Письмо было у меня в руке, и я позвонила у запертой чугунной старомодной калитки большого особняка. Долго никто не отвечал. Прогуливавшийся по тротуару полицейский начал присматриваться ко мне. Мне становилось не по себе. «Что они забаррикадировались?» — с раздражением подумала я, все еще не догадываясь — или забыв, — что вот это и есть советский образ жизни, от которого я отвыкла за многие годы… По существу, я сейчас переходила невидимую границу в другой мир, хорошо знакомый мне, но забытый, где люди будут вести себя совсем иначе.

Наконец в микрофоне в каменной ограде прозвучал голос, я меня спросили, что мне нужно. Я сказала, что несу личное письмо к послу. «Писем не принимаем. Пошлите по почте.» — «Подождите! Могу я поговорить с кем-нибудь хотя бы здесь?» — заторопилась я.

Последовало долгое молчание. Наконец по ту сторону калитки появился молодой человек в коричневом костюме советского пошива и повторил, что письма следует посылать по почте. Недавно миссис Тэтчер прислали в письме бомбу, — вспомнила я. — Наверно поэтому они боятся взять в руки письмо… Чтобы не терять времени понапрасну, я объяснила, кто я такая и почему я пишу лично послу. Человек в коричневом костюме молча выслушал все и ушел, оставив меня на тротуаре возле калитки.

Через некоторое время он вернулся, отпер калитку и пригласил меня войти, сохраняя безразличное, невозмутимое

выражение лица. «Посла нет, — сказал он. — Вы можете объяснить мне, в чем дело, а также прочесть ваше письмо».

В здании посольства (или консульства?) меня несколько раз переводили из одной комнаты в другую, где я всякий раз оставалась подолгу одна, сидя в кресле перед большим молчавшим телевизором. Очевидно, за мной наблюдали или фотографировали. Наконец человек в коричневом костюме, все еще не очень дружелюбный, сказал мне после недолгого разговора, чтобы я зашла за ответом через неделю. «Мы ничего не решаем, как вы сами понимаете, — сказал он. — Но ваше письмо будет передано в Москву». И я ушла.

* * *

Это была моя первая встреча с советским миром и его представителями с того дня в Дели, когда я ушла из советского посольства в Индии, чтобы не вернуться. Прошло семнадцать лет.

Отвыкла я от советской речи. Эмигранты совсем иначе говорят по-русски: за границей все еще жив прекрасный, классический язык чеховских времен, с совершенно другими интонациями. Еще более отвыкла я от советских манер, или, вернее, от полного отсутствия хороших манер, когда вас не представляют собеседнику и сами не представляются и вообще ведут себя так, как будто вы мебель. Вежливость играет такую огромную роль повсюду в мире — на Западе и особенно, на Востоке, а здесь вам сухо сообщают дело, будьте благодарны и за это!

В других обстоятельствах меня, наверное, потрясла бы вся эта встреча с советским миром — но не теперь. Сейчас мне было важно только одно: что мне ответят. Меня ругали и кляли в Советском Союзе столько лет, давно уже объявили сумасшедшей, и теперь, наверное, им потребуется долгое время, чтобы переварить мою просьбу о возвращении… Зайти через неделю? Разве они могут решить что-либо за неделю?

Но через неделю меня встретили у железной калитки с улыбками и провели в посольство. Там пригласили на чашку чаю с поверенным в делах, и опять все вокруг улыбались. Мне вдруг стало почти что дурно. Я сидела с чашкой чаю в руках, слушала дружелюбные речи, означавшие разрешение, и у меня было чувство невесомости, как будто я падала куда-то в бездонное пространство… А мне тем временем уже советовали, куда лететь, когда лететь, и — чем скорее, тем лучше.

«Ни в коем случае не надо прямо из Хитроу, а лучше сначала

летите в Швецию или в Грецию, там вас встретят наши и пересадят на аэрофлотовский самолет!». Я сидела, слушала и — падала, падала в пропасть, в пустоту, где не было ничего. О чем сейчас говорить? Надо выяснить нечто очень важное…

«Надеюсь, в Москве все еще существуют английские школы? Это очень важно для моей дочери», — собралась я, наконец, с мыслями. «Ах, вам все там скажут, там скажут!» — радостно пропел поверенный в делах, весь сиявший и досадующий, что я не вылетаю в СССР завтра же.

«Но мне необходимо как-то уладить все это с дочерью, — пробовала объяснить я, все еще воображая себя в системе совершенно иных взаимоотношений, свойственных иному обществу. — Ведь она еще ничего не знает», — произнесла я, как будто разговаривая сама с собой и понимая, что это звучит преступно.

С трудом я выговорила себе задержку почти на месяц, до конца октября. Ольга будет тогда дома, на десятидневных каникулах, и мы смогли бы поехать с ней на неделю в Грецию — что, кстати, мы давно собирались сделать. «Ну, вот и чудесно! — обрадовался поверенный в делах, — а там — к нам, в посольство. Отдохнете немного и потом — на самолет и Москву!» — Он был почти в восторге.

Я отправилась домой в Кембридж, как в тумане. По дороге — сначала в метро, а потом в поезде — я думала только о том, как скажу все это Ольге. Мне казалось тогда, что, как только она войдет в большой круг семья, которого ей всегда так недоставало, все образуется, Я уверяла себя в самом наилучшем исходе нашего возвращения. До приезда Ольги домой оставался ровно месяц. Надо обо всем подумать… Что мы возьмем с собой? Очень немного, только самое необходимое… бумаги и письма надо уничтожить… А квартира? А мебель? Боже мой. Боже мой. Поворачивать назад уже невозможно.

* * *

Через месяц мы с Ольгой ехали автобусом, как обычно, из ее школы в Эссексе домой. Она уже знала, что мы полетим в Грецию через два дня, — мы давно планировали такую поездку вместе, весной или осенью. Мы столько знали о Греции от наших друзей в Милуоки, и мне казалось, что я найду там большое сходство с Черноморьем, столь дорогим мне по воспоминаниям детства. Да — но даже она увидит гораздо более серьезные сборы, чем необходимы для поездки на неделю, — как я все это ей объясню?..

Мы прожили в Англии уже два года, недавно купили маленькую квартиру и, казалось, могли теперь наслаждаться нашим новым жильем и независимостью от домовладельцев.

Волнуясь и не дожидаясь «удобного момента», я решила, что надо прямо так и сказать Ольге, что мы поедем из Греции в Москву, чтобы, наконец, встретиться со всей семьей. Когда наш двухэтажный автобус трясся и вихлял на узких улочках маленьких английских деревень по пути в Кембридж, я так и сказала ей. Ольга оторопела, но не возражала.

«А потом я вернусь в школу?» — сразу спросила она о самом важном для нее. «Да», — заставила я себя сказать, не в силах сейчас спорить с ней, но зная, что вскоре придется сказать ей всю правду. Но лучше позже, потом… Если я все скажу ей сейчас — она не поедет. Она все остановит. В свои тринадцать лет она уже стала такой сильной. Но ей там понравится среди семьи, уговаривала я себя, но чувствовала себя противно, как будто обокрала кого-то. Следовало бы все это сейчас же отменить, послать ко всем чертям… Но этого я не могла уже сделать.

В последующие дни Ольга стала что-то подозревать, стала расспрашивать, а я уклонялась от ответов. Даже уже заказав такси, чтобы рано утром ехать в аэропорт Хитроу, я не спала всю ночь и готова была все отменить… Ей может быть очень трудно, я понимала это рассудком. Но она уже расспрашивала с интересом о Греции — она все еще ребенок и быстро забывает. Она забудет все неприятное, она так еще молода… Винты были запущены, машина готова была лететь — невозможно было остановить события…

Каким-то непонятным образом всегда все становится известно именно тем, кому не следует ничего знать. Вдруг — звонок от английского корреспондента. Говорит, что в западногерманской газете появилось сообщение о моем возвращении в СССР. Я сказала, что это неправда. Мне становилось не по себе от такого плохого начала.

В аэропорту я озиралась, не гонятся ли за нами с камерами, но до Афин мы долетели благополучно и спокойно. Там взяли такси и с помощью греческого разговорника объяснились с шофером. Узнав, что мы едем в советское посольство, он заулыбался и закивал головой. Ольга сидела с мрачным лицом.

У ворот посольства нас уже ожидала молодая пара. Они говорили по-английски и сразу же пригласили Ольгу к себе. Оказалось, что они были из агентства по продаже советских кинофильмов за рубежом. «Слава Богу, — думала я, — хорошее начало: они займут Ольгу, может быть, понравятся ей, и у нее будет хорошее первое впечатление»…

Меня тем временем позвали поговорить о делах. Самолет в Москву полетит через три дня, сказал кто-то, чьего имени я не запомнила. А пока что нам предлагали посмотреть Афины и купить подарки в Москву, — для этого у нас в Англии не было времени. И вечером предстояла встреча (чай) с новым молодым послом, сыном совсем недавно умершего Андропова. Игорь Юрьевич Андропов был дипломатом нового поколения, цивилизованным, с хорошими манерами и прекрасным знанием иностранных языков. Его по-западному очаровательная жена была театроведом по образованию, а он сам бил историком. Они оба сразу же уделили большое внимание Ольге, понимая, что она будет в центре всех наших потенциальных трудностей, проблем и успехов. Игорь Юрьевич сразу же подошел к девочке, заговорил с ней по-английски, и она тут же растаяла и почувствовала себя легко и хорошо. Общительность всегда была ее прирожденным даром, и я видела, как любопытны были ей «эти русские», которых она никогда еще в жизни не встречала. Каждая ее улыбка обнадеживала меня, и мне становилось хоть чуточку лучше.

Но остальная компания не внушала никакого энтузиазма. Кроме молодых посла и его супруги, все выглядели старомодными, официально холодными советскими бюрократами. Особенно неприязненными были толстые круглолицые дамы. Вдруг мне стало нехорошо от пришедшего на ум вот такого же приема в советском посольстве много лет назад в Дели… Как будто начали крутить обратно старую киноленту! Такие же мизансцены, такие же взгляды, как и когда я в последний раз сидела за столом у посла А. Бенедиктова, уже решив бежать… И вот через семнадцать лет снова, как призраки, такие же ситуации — как во сне… Только Оля — существо из реального мира, и она все время дает мне понять, что с реальностью что-то неладно.

Ночью она, наконец, разражается негодованием. Мне уже ничего не надо объяснять — она и сама поняла, что мы не вернемся отсюда в Англию… Я так устала, так мне было скверно от всех сопоставлений, воспоминаний, от всего, а теперь еще надо представить себе приезд в Москву…

«Но пойми, наконец, что я не видела их столько лет!» — говорю я в полном отчаянии. Да, она понимает это. И умолкает. Мы обе молчим. И плачем, каждая на своей постели.

* * *

Потом нас возят по Афинам, показывают Акрополь,

достопримечательности. Оля ведет себя великолепно, улыбается, фотографируется, покупает сувениры. В каком-то журнале еще в Англии она прочла, что молодежь в Москве охотится за сникерсами и спортивными сумками марки «Адидас», и теперь она нашла именно это для подарка своему племяннику — а моему внуку — Илье, который на год старше нее. Она добрая, щедрая душа, всегда хочет сделать приятное другим кажется, что она уже забыла о своих огорчениях. Магазины всегда развлекают ее, в ее возрасте неприятное легче забывается. Я купила греческое вышитое платьице для моей внучки Анюты и какие-то безделушки для сына и его новой жены. На большее не было денег.

Завтра самолет Аэрофлота летит в Москву через Софию. Меня любезно спрашивают, следует ли известить сына, чтобы он встретил нас, и я в страхе прошу, чтобы — нет, нет! Не хватает только эмоциональных сцен перед публикой. Ведь я боюсь и жду этого момента уже давно, столько времени. Пусть уж лучше придет к нам в гостиницу. Мы просим о гостинице — так как я уже привыкла за все эти годы жить в отелях и чувствовать себя независимой. И вообще, только Богу известно, что это за новая невестка у меня, нельзя же свалиться к ней на голову вот так, вдруг.

Ну, в таком случае, говорят мне, вас будет встречать представительница Комитета советских женщин. Так. Значит — все на официальную ногу. Теперь уже все безразлично. Тут не выбирают. Все будет так, как решат «наверху», — как именуют в Москве правительство. Вопросов не задают. Да и какое значение имеют все эти детали? Я скоро увижу сына, увижу их всех…

…Самолет приближается все ближе и ближе к Москве — городу, где я родилась, выросла, ходила в школу, в университет, городу, где родились мои дети. Почему же я не волнуюсь, не плачу счастливыми слезами? Мне нехорошо на душе, я нервничаю, но это совсем не радостное волнение. Что-то крепко держит меня и не позволяет дать волю чувствам. Я даже не могу понять своих собственных чувств, когда вижу подмосковные поля и уже заснеженные леса; над ними самолет делает развороты. Зима здесь ранняя и холодная в этом году, сказали мне в Афинах. Греция показалась мне похожей на черноморское побережье Грузии, и это было единственным приятным впечатлением за все последние дни. Сейчас же я ничего не чувствую. Ольга озирается по сторонам, рассматривает пассажиров. Что это за паралич со мной?

Вот и аэропорт Шереметьево, откуда я улетела в 1966 году в Индию. Разросся, громадный стал, модерный. Наш самолет

подруливает к какому-то отдельному входу, очевидно, для особенно важных лиц. Вокруг не видно никаких толп, другие пассажиры где-то в другом месте. Знакомая социальная сегрегация. Женщина в строгом официальном костюме с букетиком цветов, завернутых в целлофан, ищет меня глазами — находит — и пытается улыбнуться. Это у нее плохо выходит, и мне становится даже жаль ее, бедняжку, за миссию, которую на нее возложили. Она говорит мне что-то вроде «добро пожаловать», и мы обе смущены нелепостью происходящего.

К Ольге подходит молодая миловидная переводчица, и тут, слава Богу, сразу же возникают улыбки и контакт. Чудесно она ведет себя для тринадцатилетней школьницы, какая прекрасная выдержка — или это в самом деле ей любопытно и интересно? «Из нее может получиться прекрасный дипломат в будущем», — думаю я с каким-то остервенением, потому что мне-то совсем не легко и не приятно.

Нас всех ведут куда-то в отдельную комнату, усаживают за стол с белой скатертью, наливают шампанского в бокалы. Мы все чокаемся и пьем «за прибытие». Не знаю, как перевела это Оле переводчица, но Оля ведет себя исключительно хорошо. Мне надо, очень надо думать о чем-то положительном среди всего этого сюрреалистического сновидения…

Мы прибыли на родину. Что это значит? Как это произошло? Как это вообще сделалось возможным?..

И было ли это действительно каким-то сумасшествием, или, может быть, совсем наоборот, глубоко обоснованным и необходимым шагом, который судьба заставляет нас совершить вопреки здравому смыслу, но в соответствии с мудростью Божией, которую мы часто не в силах распознать, оттого что не укладывается она в наши узкие земные рамки?

Не делайте скорых выводов, дорогой читатель. Отложите ваше перо, достойный критик. Дочитайте до конца эту книгу, да и потом не сразу судите. Возможно, что ответ придет не скоро, и вы сами удивитесь ему. Автору этих строк, оглядывающемуся назад, думается, что все, абсолютно все было к лучшему, включая конечные результаты этого закономерного возвращения на родину. Но тогда это все ощущалось не совсем так. В особенности в годы, прямо предшествовавшие пересечению границы.

2
В АНГЛИИ

Нашему с дочерью появлению в Кембридже, в Англии, в августе 1982 года предшествовала долгая полоса поисков. Отдать одиннадцатилетнего подростка в европейскую школу-пансион я считала совершенно необходимым. Жизнь американских подростков, ее сверстников, как в частной, так и в бесплатной общеобразовательной школе, меня вполне убедила в такой необходимости.

Но я тянулась совсем не в Англию, еще незнакомую мне тогда, а в Швейцарию, о которой у меня остались самые хорошие воспоминания с весны 1967 года. Там находились английские пансионы с высокими академическими стандартами. В Нью-Йорке имелись агенты этих школ, и после соответствующих испытаний и тестов Ольге предложили место в школе Св. Георгия, около Монтре, во французской части Швейцарии.

Однако выяснилось, что в Швейцарии я не могу получить статус иностранного резидента. Намного легче было получить такой статус в Англии (без права работы), а потому нам пришлось спешно подавать заявления в пансионы Англии.

Весной 1982 года я поехала в Лондон, чтобы встретиться с агентством, ведавшим формальной стороной поступления в пансион. Но перед этой поездкой произошло одно знакомство, которое послужило впоследствии решающим для Ольги и — как я сейчас полагаю — для всей ее дальнейшей жизни. И вся наша жизнь в Англии вдруг вошла в совершенно определенные, но никак не предусмотренные рамки.

В доме одного старого друга еще по Принстону, теперь же профессора епископальной семинарии в Нью-Йорке я случайно встретилась с тогда еще малоизвестным в Америке Терри Вейтом. Англия уже хорошо знала этого ассистента архиепископа Кентерберийского, которому удалось благодаря личной храбрости и напору освободить нескольких американских священников из лап аятоллы Хомейни в Иране. Сегодня, после попыток Терри Вейта освободить заложников в Бейруте, окончившихся захватом его самого, его имя известно всему миру. [3]

В молодости Терри Вейт вместе с нашим другом из Нью-Йорка (и третьим пастором, проживавшим теперь в Кембридже в Англии) был миссионером Англиканского причастия в Африке. В память о том прекрасном — как все трое говорили — времени

они продолжали иногда встречаться. Вот почему Терри Вейт пришел на этот памятный обед в семинарскую профессорскую квартиру своего старого друга. Сама внешность этого высокого, приятного бородатого и еще молодого человека сразу же вызывает к нему симпатию и доверие. Спорить с ним бесполезно, да и не хочется.

Безусловно, он обладал какой-то магнетической силой убеждения, которая и объясняла успех его миссий. В глазах его светилась детскость и необыкновенная доброта — неподдельная забота о ближнем — хочется сказать, — которая в соединении с колоссальной силой духа становится основой характера святых и подвижников. Выслушав нашу историю о поисках школы в Англии, Терри уже решил этот вопрос по-своему. В Лондоне, полагал он, я должна буду остановиться в его семье, а лучшей школой для моей дочери будет пансион квакеров, где учились дочери его старого друга, теперь живущего в Кембридже.

Дальше все развивалось уже не по моему плану, а по плану Терри, хотя я все еще безуспешно сопротивлялась, так как полюбила католические школы, знакомые мне по Принстону, и ничего не знала о системе образования квакеров.

Вообще квакеры — хотя и пацифисты (что было неплохо) — представлялись мне лицемерно-добродетельными ханжами и пуританами, с которыми я уже столкнулась в Америке.

Мою симпатию к католическим школам и университетам разделял мой старый друг по переписке с 1967 года — польский художник Анджей, с которым мы, наконец, встретились в Лондоне. Я все же послала наши документы в несколько католических школ. По совету Анджея, я выбрала Восточную Англию для нашего места жительства — а не фешенебельные графства к западу и к югу от Лондона. Анджей, художник проживший почти двадцать лет в Лондоне, утверждал, что плоская равнина Восточной Англии, «где так много неба является наиболее красивой частью страны — еще не испорченной индустриализацией». А поскольку Терри предложил, чтобы его старый друг, ныне живущий в Кембридже, подыскал нам там квартиру, то все само собой решалось в пользу Восточной Англии. Вот так мы решали наши дела и делали наш выбор — совсем не по рациональным или еще каким-то иным политическим соображениям.

Были и другие возможности. Мы могли очутиться в Оксфорде под покровительством одного из знаменитых академиков. Могли оказаться в Лондоне, где была возможность работать на радиовещании для СССР. Оксфордский академик познакомил меня со своим издателем и предложил, вернее, пообещал, что в

Англии издадут мою новую книгу, если я напишу таковую. Именно на этой основе и была дана мне виза на год — с правом продления — как писателю, живущему на доход от книг. Я все еще могла тогда платить за пансион и жить весьма скромно в Англии, но для колледжа дочери у нас уже не было средств. В эти обстоятельства никак не мог поверить оксфордский академик, который, подобно моим покровителям в Принстоне, был человеком богатым. И мне было куда приятнее, сказать по правде, принять помощь трех служителей Англиканского Причастия, людей более скромных и простых. У меня уже был многолетний печальный опыт с высокими покровителями в Америке, никогда не спускавшимися до уровня жизни человека со средним достатком и занятыми больше политикой, нежели человеческой судьбой.

И вот, на пасху 1982 года Терри Вейт, его друзья по Африке, их семьи и я все собрались в Кембридже на ленч. Потом мы отправились посмотреть школу квакеров в близлежащем Саффрон Уолдене. Я должна сознаться, что не пришла в восторг ни от пустых угрюмых дортуаров с черными железными койками, как на старых фотографиях сиротских приютов, ни от всей безрадостной и некрасивой школы, ни от ее директора. Он старался понять, отчего я интересуюсь школами квакеров — но у меня на это не было ответа. В школе не было программ, и весь разговор свелся к нескольким общеизвестным истинам — что никак не объяснило мне их принципов воспитания молодежи. Однако директор был более чем любезен, а когда я вернулась в Штаты, его школа первой прислала нам экзаменационные материалы, а потом и предложение места. И поскольку была уже поздняя весна и времени не оставалось, я положилась во всем на мнение Терри Вейта. Мы стали собираться в августе в Кембридж, где друзья Терри уже подыскали нам квартиру, а определение Ольги в школу помогало во всех бюрократических оформлениях переезда в Англию.

Дом в Нью-Джерси был продан летом, а наше имущество перевезено в Висконсин (куда, я полагала, мы возвратимся после Англии). У меня не было планов оставаться в Европе до бесконечности, мы считали себя американцами. Возвращаться же на Восточный берег США я считала в будущем вряд ли возможным, просто потому что жизнь на Среднем Западе менее дорога. Кроме того, много личных воспоминаний было связано с Висконсином, — о чем читатель еще услышит к концу этой книги.

* * *

В Кембридже на старой зеленой улице с викторианскими профессорскими домами, ныне сдаваемыми поквартирно и покомнатно приезжим преподавателям, нашими хозяевами оказались милейший профессор аграрной экономики — веселый, усатый старик (внешне, скорее, француз чем типичный англичанин) и его худенькая, болезненная жена. В его громадном особняке снимали квартиры еще две семьи, кроме нас. …Терем-теремок, кто в тереме живет? Я — лягушка-квакушка, а ты кто?..

Мы с Олей отправились по крутой лестнице на самый верх, в мансарду, откуда открывался чудный вид на уже золотящиеся деревья большого сада. Хозяйка объясняла сложные приемы добывания горячей воды в ванной, которые показались мне допотопными даже по сравнению с московскими квартирами. В гостиной и спальне я не нашла никаких отопительных приборов, кроме газового камина и чрезвычайно старомодной маленькой электропечки. А красивые большие окна, глядевшие в сад, были без вторых рам и обещали стужу зимой. Уже хорошо наслышанная о холоде в английских квартирах, я старалась не выдавать своих истинных чувств.

Затем появился весельчак-профессор и сказал, что прежде всего мы должны явиться в полицию, чтобы меня «прописали» в его доме. Мы отправились туда все вместе, и, пока он искусно вел машину по неимоверно узким средневековым улочкам Кембриджа, обсудили советский колхозный строй. Бумаги мои были в порядке: виза на один год с возможностью последующего ежегодного продления. С моими хозяевами мы быстро подружились и впоследствии встречались и после возвращения из Советского Союза.

Другими съемщиками оказалась молодая семья из Южной Африки с двумя малышками и несравненная мисс Мэри-Кейт, о которой надо рассказывать отдельно.

Мисс Мэри-Кейт, библиотекарше на пенсии, было далеко за семьдесят. Яркие голубые глаза и горячий темперамент выдавали в ней ирландку. Она проработала в музеях Лондона и Кембриджа всю жизнь, много попутешествовала и теперь являла собою кладезь знаний по искусству. Кроме того, в этом громадном доме ее комната была теплейшим уголком, куда можно было постучаться в любое время.

В ее крошечной гостиной всегда горел газовый камин, она ласкала на коленях старую хромую кошку, и истории лились из нее без перерыва. На столе у нее всегда был крепкий вкусный чай, хорошей выпечки круглый хлеб и острый сыр. Весьма часто по вечерам Мэри-Кейт потягивала виски, а мне наливала джину. Хотя у нее имелись родственники в Ирландии, ехать ей отсюда

было некуда. Она вспоминала о не столь давних поездках в Турцию, Италию и Швейцарию, но, по-видимому, теперь уже все это было позади. Друзей же у нее было много, и мы встретили некоторых: Мэри-Кейт обожала гостей, и, чем большая толпа набивалась в се комнатку, чем больше было маленьких шумевших детей — тем больше ей это нравилось.

Южноафриканская молодая чета (муж — адвокат, жена — художница) тоже были очень приятными, и мы переписывались, после того как они уехали к себе в Трансвааль.

Постепенно мы познакомились и с другими соседями на Чосер Роуд, и нашли здесь дружбу, которая все еще продолжается. Муж и жена профессора — археологи с тремя детьми были особенно симпатичным семейством. Жена была толстушка, совершенно в русском стиле, что было для меня крайне удивительно в Англии. С адмиралом военно-воздушных сил в отставке и его женой также было проведено немало вечеров. А прекрасная художница-акварелистка, жившая через дорогу от нас, любила расспрашивать о России: у нее где-то в прошлом были семейные связи с русскими. Она была в возрасте где-то под семьдесят и отдавала много времени помощи инвалидам, перевозила их в своем автомобиле, участвовала в разных благотворительных мероприятиях и поражала меня своей неистощимой энергией. Она была вдовой известного геофизика, матерью его пятерых детей и бабушкой бесчисленных внуков, с которыми она встречалась в строго оговоренные заранее дни недели. Во всяком случае, среди моих соседей я никогда не замечала пресловутой чопорности и холодности, которыми наградила англичан молва в русская литература. Все были радушными, веселыми, легкими людьми, и нашу жизнь две зимы на Чосер Роуд никак нельзя было назвать одиночеством.

В Лондоне мне предлагали в то время работу на радиовещании для СССР — на Би-би-си, от которой я отказалась, так как это было бы чистейшей политикой. Мне в то время не хотелось ничего делать такого, что могло бы быть рассмотрено как пропаганда и политика. Однако наши финансы требовали какого-то пополнения, и ничего другого не оставалось, как писать новую, третью книгу.

Тут не обошлось без шутки — из тех, которые судьба все время играет со мной. Известный лондонский издатель составлял в то время сборник рассказов для благотворительного Общества ОКСФАМ. Он включил в сборник мой, нигде еще не напечатанный, рассказ «Девяностый день рождения». Это была история о моем большом друге в Принстоне, миссис Эдит Чемберлен и о се девяностолетии. В Антологии[4] мое имя стояло

рядом с известными писателями и деятелями Англии, и все они, конечно, ее нуждались в гонораре. Для меня же вновь изображать благотворительность, когда у Ольги уже не было денег на колледж, было просто смешно. Но я согласилась: писателю всегда так хочется видеть свою работу напечатанной! Это магия какая-то, когда листаешь страницы своей, пусть небольшой, работы, — это как во сне. Ни с чем не сравнимое чувство. Я клюнула на приманку, и потом наслаждалась, покупая сборник в книжном магазине в Кембридже и посылая его своим знакомым в Америку.

У меня было в ту пору написано около пятнадцати небольших рассказов о жизни в США, и я хотела сделать сборник под заглавием «Рассказы об Америке». Но когда я дала их прочесть знакомому издателю, он сказал, что цельная книга была бы куда лучше. Я не знаю, почему собрание рассказов оказалось хуже. Такое свободное собрание позволило бы мне коснуться самых разнообразных аспектов моих пятнадцати лет в США: я продолжала свое автобиографическое повествование. Однако надо было сделать, как сказал издатель. И книга эта — «Далекая музыка»- была несчастливой с самого начала.

Издатель, с которым я уже была знакома по «Антологии», отверг ее на основании того, что «книга эта — об Америке, пусть ее в Америке и издают». Затем литературный агент, к которому меня привела одна знакомая дама в Лондоне, пытался подсунуть мне «соавтора», который, по существу (и по его замыслу), написал бы книгу вместо меня. Эта затея, конечно, не встретила моего энтузиазма. После этого, расхрабрившись, я отправила рукопись в США в издательство «Харкорт Брейс Иованович», которое когда-то очень хотело получить права на мою вторую книгу. Но ответ пришел неутешительный: вместо рассказов об Америке мне предлагали теперь вновь писать о детстве в Кремле, о Сталине, о моих близких — обо всем, о чем уже было написано мною же в моих старых книгах. Я никак не собиралась «переосмыслять» то, о чем уже писала однажды, и отказалась переделывать написанное. После долгих мытарств и полного моего отчаяния рукопись наконец попала в издательство «Даблдэй» в Нью-Йорке и пролежала там почти год. Издатель ломал себе голову, что с нею делать, а я полностью уверовала, что никто в США эту книгу печатать не станет. Когда наконец «Даблдэй» решил книгу издать, мы уже собирали чемоданы для поездки в СССР…

И тут — как это было уже однажды, семнадцать лет тому назад, как deus ex machina появился на сцене всем известный Тикки Кауль — бывший посол Индии в Китае, в Москве и в Вашингтоне, а теперь — член правления ЮНЕСКО. Он оказался вдруг в Лондоне. Мы встретились и обрадовали друг друга

взаимным заявлением: «А вы ничуть не изменились!» Пошли в небольшой лондонский ресторан. За столько лет говорить было о чем… Встреча эта кончилась тем, что Тикки Кауль приехал в Кембридж где-то в ноябре 1983 года и забрал мою рукопись с собой в Индию, — как он сделал и с рукописью «Двадцати писем к другу» в 1966 году в Москве. Почему события должны так повторяться, я не знаю. Но я уверена, что если я опять встречу Тикки, то это будет опять непременно в какой-то роковой момент…

И «Далекая музыка» появилась на английском языке в Дели в августе 1984 года. Хотя издание оставляло желать лучшего с профессиональной точки зрения, а издательство «Лансер Итернейшнл» — так никогда и не уплатило причитавшихся мне трех тысяч рупий, но опять-таки держать в руках изданную книгу было несказанным удовольствием.

И этот факт я рассматривала как большое достижение, хотя, по условиям контракта, книга распространялась только в Индии, Бангладеш и Пакистане для читающей на английском языке публики. Учитывая размеры этих стран и тот факт, что на английском языке там читают несравненно больше, чем на каком-либо ином, я должна была быть довольна. Но издатель решил автору вообще не платить. Он жаловался, что «название — плохое: все думают, что это какая-то специальная книга о музыке, и не покупают».

Господи! Он же прислал мне рецензии, книга была хорошо и широко прокомментирована в печати. Никто не полагал тогда, что это книга «для музыкантов». Должно быть, он был разочарован, что не сделал на этой книге миллионов. Знакомая история. Но все же — третья книга вышла!

* * *

В Англии вы чувствуете каждую минуту, что живете в центре старой прекрасной культуры. Это приходит с чтением газет, где новости со всего мира освещены с куда большей объективностью и знанием дела, нежели в Америке. Я сразу же заметила это в сообщениях о СССР; куда меньше эмоциональности, предвзятости и предрассудков. Телевизионные новости отличаются теми же качествами. К сожалению, подражать во всем американским — далеко не лучшим стандартам стало уже модой. Даже в доме у Терри Вейта вся комната его дочери была увешана картинками Снупи и Мики-Мауса, этих героев американской «пластмассовой» культуры, успешно завоевавших весь мир. Однако люди на

улицах, в метро, в поездах были все еще сдержанны и приятны. Все расы и национальности Британского Содружества были представлены здесь и как-то хорошо смешивались с белыми. Казалось, что если бы кто-нибудь решил теперь строить Вавилонскую башню, то ее надо было бы строить именно в Лондоне: все языки, все народы были здесь.

Жизнь в Англии была проще, мы прекрасно обходились без автомобиля, общественный транспорт был вполне удобен. Если он несколько замедлял ход жизни, то это было только к лучшему.

В Лондоне давал концерты Владимир Ашкенази, теперь уже седеющий пятидесятилетний человек, игравший лучше, чем когда-либо. В кинотеатрах Кембриджа шли отличные фильмы индийских продюсеров Мерчант — Айвори «Жара и пыль» и монументальный «Ганди» Д. Аттенборо. Во время июльского фестиваля в Кембридже, проводившегося ежегодно, музыканты играли на всех площадях и переулках, прекрасные камерные ансамбли давали бесплатные концерты во всех университетских церквях. Надо всем царила Церковь Королевского колледжа, куда каждый вечер вы могли зайти и погрузиться в вечернюю молитву. Пел прекрасный хор мальчиков и взрослых певцов, и звуки улетали ввысь, ласкали эти древние, неповторимые стены. Всегда было здесь много студентов и университетских преподавателей — вдохновенные, хорошие, чистые лица вокруг…

А под Рождество здесь всегда поют «кэролс» — рождественские гимны, которые знает весь западный мир. Неземное пение хора транслируется по радио и передается по телевизору по всему миру. Попасть тогда в церковь невозможно — надо стоять в очереди с шести часов утра. Но зато потом все двенадцать дней Рождества звучат по радио повсюду прекрасные «кэролс», такие жизнеутверждающие, такие радостные…

Я узнала много нового в Англии. Друг Терри Вейта, пастор и по совместительству психолог, последователь Юнга, дал мне автобиографию Карла Густава Юнга — прекрасную книгу, которую должен прочесть всякий образованный человек. Называлась она «Воспоминания. Сны. Раздумья». Это был для меня новый мир, совершенно новая дверь, ведшая к глубокому пониманию загадок человеческой души.

Мой друг художник Анджей давал мне читать «Исповедь» Св. Августина и книги современных английских католических монахинь — прекрасные работы, помогающие преодолевать внутренние трудности. Мы много говорили с ним о вере и о христианстве. Как и все остальные мои друзья-католики (чета Джиансиракуза в Калифорнии, супруги Яннер в Швейцарии, сестра Джудит Гарсон в Принстоне), он был точно так же радушен

и дружелюбен и всегда принимал меня как дорогого гостя. В маленькой однокомнатной квартирке, где он жил вместе со своей матерью, он сохранил немногие из своих картин — пейзажи, сделанные в Польше, Иране, Израиле, в Восточной Англии. В то время, о котором я пишу, он был нездоров, не работал и был этим ужасно удручен. Однако это не мешало ему вникать в наши дела, советовать мне в малейших мелочах. В Англии я нашла очень хороших друзей-католиков и наконец, решилась на шаг, который привлекал меня уже много лет…

С русской церковью на Западе я не чувствовала связи, из-за ее раздробленности, из-за вечных политических разногласий между се различными «юрисдикциями». Каждая церковь восточного православия была, по существу, маленьким национальным клубом, свято охранявшим свою этническую обособленность. Для меня же христианство — это всеобъемлющая всечеловеческая вера, охватывающая все расы и национальности, весь мир. Такой верой было римское католичество.

Вячеслав Иванов, великий русский ученый и поэт, принял католичество именно на этом основании. Я поняла и ощутила это с того момента, когда впервые встретилась с католиками в Швейцарии в 1967 году. В прошлом многие прогрессивные русские переходили в католичество потому, что оно приближало их к цивилизации Западного мира. В наше время католичество не чурается бедных, больных, униженных во всем мире — тогда как многие так называемые христианские церкви, особенно в Америке, стали служить только влиятельным богачам и всем сильным мира сего.

Я долгие годы думала о переходе в католичество, говорила об этом со многими своими друзьями, и вот теперь, в Англии, где католичество, хотя и в меньшинстве, но так сильно, я чувствовала, что надо наконец сделать решающий шаг. Анджей познакомил меня с замечательным монсеньором, служившим тогда в одной лондонской семинарии. Мы долго говорили, и я исповедовалась. «Но вы и так уже там! — повторял Анджей без конца. — Это протестантам труден такой шаг. А для вас, православных, это ведь, по существу, одно и то же!» Я вступила в римскую церковь 13 декабря 1982 года, в день Св. Лючии.

Начала ходить рано утром к причастию в церковь Св. Марии и Всех Английских Мучеников в Кембридже. Потом зимой 1984 года, в холод и ледяной дождь, поехала в маленький приют на восточном берегу Англии, при монастыре Св. Марии в Суффолке. Там я провела несколько дней в состоянии ни с чем не сравнимого мира и внутренней тишины и никогда не забуду этого.

Мне нужна была вера, способная охватить все человечество, весь земной шар, вера без «национальной гордости», без «патриотизма», без «побед» одного народа над другим. Я перечитывала снова и снова «Римский дневник» и другие работы Вячеслава Иванова в его сборнике «Свет вечерний» (1949, Оксфорд) и с удовлетворением чувствовала, что до меня были другие, кто мыслил так же. Это было уже сложившейся исторически обоснованной традицией. Я только присоединилась к ней.

С главой русских католиков в Америке — госпожой Е. Извольской — меня познакомил профессор Ричард Берджи еще в первые годы в США. Я хотела сделать этот шаг во время посещения Америки папой Иоанном-Павлом II в 1978 году — под сильнейшим впечатлением от его визита. Но священник в Принстоне не пожелал иметь со мною дела. Он чуть ли не смеялся мне в лицо, когда я пришла поговорить с ним… Теперь же, в Англии, никто не смеялся надо мной, и я чувствовала себя так хорошо. Мне только было бесконечно жаль, что моя дочь не захотела перейти в католическую школу — в прекрасную старую школу Нью-Холл в Челмсфорде, Там было так красиво, что, казалось, и деревья вокруг помогали вдохновенью. Девочки были веселыми, монашки — тоже, и повсюду царил дух радостной углубленной работы. Я никак не могла согласиться с серостью квакерской обстановки, с их показной скромностью — мне это казалось борьбой с красотой, пуританским отрицанием ее. А красота создана Богом, это — Гармония вселенной, без красоты — нет святости жизни…

Но в этом мне пришлось уступить своей упрямой дочери, так как она не захотела расстаться со своей школой. «Ничего не поделаешь. Придется уступить», — думала я.

В те дни нашу с Ольгой жизнь в Англии можно было назвать в общем приятной. Мы купили маленькую квартирку в Кембридже и радовались, что теперь у нас наконец были современное отопление и горячая вода в ванной! Ольга была к тому времени уже влюблена в свою школу без памяти. Летом мы ездили на небольшие острова к юго-западу от Корноэлла — так называемые Силли, где жизнь была простой, автомобили не дозволялись, и рыбачьи лодки развозили отдыхающих по небольшим островкам с уединенными пляжами. У нас возник свой круг знакомых. Мы привыкли к столь отличной от Америки атмосфере Англии, поначалу казавшейся нам серой, угрюмой и безрадостной.

К Англии нужно привыкнуть — тогда начинаешь видеть ее скрытую красоту и незаметные радости, — как те скрытые за высокими кирпичными стенами маленькие садики, где англичане

с необычайным вкусом и умением подбирают садовые цветы так, что они выгладят одновременно и ярко и натурально. В нашей Восточной Англии, где еще много земли, ферм, осенней охоты и прекрасного широкого неба, мы повстречали многих интересных людей. И после многолетнего изучения книг индийского философа Кришнамурти я, наконец, поехала повидать его в его школе в Броквуд Парке.

У меня был, не скрою, некий мистический страх и волнение перед этой встречей. Что Кришнамурти, необычайно чувствительный медиум, любит шутить с посетителями и совершенно не похож в эти минуты на пророка, каким он выглядит (и является) во время своих лекций, я знала. Я все о нем знала — потому что давно прочла все им и о нем написанное. Но я знала также, что в жизни подобные люди носят маску, и то, что вы видите перед собою, есть только лишь внешняя кажимость.

Увидев меня, Кришнамурти сложил руки в индусском приветствии «намастэ», и мне сразу стало легко. Он старался внешне выглядеть человеком Запада — но по существу — всегда оставался южноиндийским брамином. По восточному вежливый до полного самоуничижения, он пригласил меня на прогулку. Этот маленького роста, худой — живые мощи — человек восьмидесяти восьми лет гулял ежедневно несколько часов, и мне нелегко было поспевать за его стремительным шагом. Он помнил одно письмо, которое я написала ему лет десять тому назад, где я обещала не задавать никаких вопросов, а просто сидеть и молча слушать. Он ответил тогда, как ему это понравилось.

К сожалению, западные обычаи требуют беспрестанного разговора. На прогулке он шутил и обнаружил хорошее знакомство с политикой и с положением дел в СССР; он следил внимательно за этой страной. Я сказала ему, что перевожу его «Дневник» на русский язык и что его проза на русском звучит просто прекрасно — может быть, оттого, что он так много страниц уделяет созерцанию природы, а это — вполне в русской классической традиции.

Я говорила, как мне хочется вновь побывать в Индии, и на это он просто сказал: «Предоставьте это мне. Я помогу нам». Я верила, что он хочет мне помочь, но также сознавала вполне ясно, как оторван он от повседневной жизни. Чтобы он смог мне помочь, нужно было, чтобы его окружение (этот колоссальный Трест, который издавал его книги и владел самим автором) согласилось бы с ним. А в этом я совсем не была уверена. Шла какая-то скрытая вражда с Индийским обществом Кришнамурти, все еще владевшим копирайтами его первых книг. Все это было так далеко от маленького смуглого святого в джинсах и синем

свитере, быстро шагавшего по проселку меж полей и звавшего нас всех к миру, любви и полному слиянию с природой. Хотелось забыть о копирайтах и прочем и просто следовать за ним и наслаждаться этими редкими минутами.

Потом, когда мы все собрались в круглом зале-аудитории, он вышел для лекции. Его нельзя было узнать. Какая-то сила наполняла его, глаза стали большими и горячими, голос звенел металлом. Он сидел прямо, вытянувшись как струна, на жестком стуле со спинкой и говорил нам — отбросив мягкость и обычную куртуазность — какие у нас у всех пустые сердца. Как мы жадны. Как глупы. Как бесплодны его усилия вот уже более сорока лет повторять нам, что надо быть честными, искренними, видеть мир, «как он есть». И не страшиться «узнать правду самому и для самого себя — одному, не полагаясь на авторитеты».

Посещение Броквуд Парка было незабываемым. Восьмидесяти восьмилетний Кришнамурти остался в моей памяти более современным человеком, чем многие молодые люди: его мышление принадлежит будущему. Нам трудно угнаться за ним, потому что мы так завязли в прошлом… «Освободитесь от прошлого», «Живите — сейчас, в этот момент, теперь!» — повторял он в книгах и в лекциях. Но это — так трудно! Мы так влюблены в прошлое и в вековую обусловленность нашего мышления. Рецептов «внутреннего мира» Кришнамурти не раздает. Наоборот, то, что он говорит, требует большого усилия, внутренней борьбы, поисков, сражений с совестью, открытости ума и готовности принять свое собственное освобождение.

Девяностолетний мудрец уже умер, но мы еще годами будем биться над его горячими призывами: «Не верьте авторитетам. Узнайте сами. Я — не гуру для вас. Я — только лектор». Он хотел, чтобы мы отрешились ото всех наших идеологий, политики, пропаганды, ото всех на свете «измов», от всякой организованной религии, от всех установленных веками и традицией норм поведения. Тогда говорил он, в вашу жизнь войдет Непознаваемое, Неведомое, огромное, как облако, горячее, как любовь, и вы пойдете за ним… Но вы должны прийти к этому сами, без жрецов и вождей. Только тогда вы узнаете, как это прекрасно.

Мы еще будем читать и изучать слова этого пророка поскольку он передавал нам, конечно, не свое собственное слово. Я внесла свою лепту переводом на русский язык с чудесного «Дневника». Но Трест, заведовавший многомиллионными изданиями, не проявил к переводу на русский никакого интереса. Это особенно удивительно, потому что Кришнамурти глубоко интересовался Россией — Советским Союзом и знал, что его там

любит интеллигенция, в особенности физики и математики, читающие по-английски. Именно поэтому он принял меня: я говорила ему, как известен он был в СССР еще тридцать лет тому назад, и он был этим очень доволен.

* * *

Но над всеми интересными встречами, над всеми поездками на острова, в Лондон, в Оксфорд, над работой над новой книгой и переводом, над заботами об устройстве нашей милой маленькой квартиры, посещениями Олиной школы и болтовней с Мэри-Кейт — над всем этим неотступно стояло одно новое обстоятельство, не присутствовавшее в моей жизни более пятнадцати лет… Голос сына и его рассказы о жизни там, о моей дочери Кате, о внуках. Но главное — голос. И как маленький ручеек размывает и понемногу уносит частицы песка и земли, пока вся гора не рухнет, так этот голос звучал все сильнее и сильнее и начинал постепенно заглушать собою все, все остальное.

Я всегда сообщала сыну наш новый адрес и телефон при всех наших многочисленных переездах на новые места. Писала я всегда на адрес его медицинского института, куда письма должны были доходить с большей обязательностью, чем личная почта. Сообщила и теперь наш новый адрес в Англии, не надеясь ни на что, так как ответов никогда не поступало.

Один-единственный телефонный разговор из Штатов в 1975 году — мою попытку — прервала телефонистка в Москве, заявив, что «номер не работает». Больше я не пыталась.

И вдруг в нашей мансарде в Кембридже раздался звонок в середине декабря 1982 года. Незнакомый, басистый голос сказал по-русски: «Мама, это ты?», и я обомлела. Потом, испугавшись, что нас сейчас же неминуемо разъединят, начала поспешно спрашивать что-то (не помню что) и сокрушаться что «голос-то совершенно непохожий, почему твой голос так переменился?» — и забывая, что через пятнадцать лет изменяется все.

Последовали шутки по поводу моего английского акцента — «а ты разговариваешь по-русски, как иностранная туристка?» — должно быть, это было правдой. Я с трудом подбирала русские слова. В ту пору мой английский был на довольно хорошем уровне, а русский был основательно забыт.

«Запиши мой телефон и звони мне», — сказал сын, как будто я была в Ялте на отдыхе. «А ты уверен — что это возможно?» — осторожно спросила я, совершенно обескураженная и звонком, и его уверенностью, и этим предложением. Телефон я записала,

однако. «Звони, когда хочешь!» — повторял он, понимая мое затруднение.

Я должна была, конечно, помнить, что с пришествием Андропова к власти в Кремле возможны были перемены. Уж не одна ли это из них? Я знала своего сына слишком хорошо, чтобы поверить, что он говорит это от собственной храбрости. Уверенность в его спокойном голосе говорила об официальном разрешении нам теперь общаться сравнительно нормальным образом, как общаются многие (но далеко не все) эмигранты и перебежчики со своими родственниками в СССР. Я положила трубку и стала думать.

Приближалось тогда Рождество — всегда радостное время на Западе, время надежд на будущее, семейных встреч, музыки, кэролс, взаимных посещений и обязательного подношения подарков. Наше с Олей первое Рождество в Англии было освещено этим звонком. Мы потом сами ему звонили, и сын говорил с Олей по-английски, потом я говорила с его новой женой — Людой.

Это было несколько трудно, потому что мне всегда нравилась его первая жена, красивая полька Елена, — так было жаль, что они разошлись и она забрала мальчика потом я умоляла, чтобы мне прислали фотографию внука, — он был на год старше Ольги. Потом спрашивала о Кате — но не получила никаких подробностей, кроме того что «она геофизик, живет на Камчатке, замужем и у нее дочка Анюта двух лет». На просьбы выслать мне ее последнюю фотографию было отвечено, что фотографий не имеется. Странно. Как это так? Не в близких отношениях что ли, брат с сестрой? Странный голос у этой Люды. Первым, что она спросила меня, было: «Ну, так когда же повидаемся?» Я ответила: «Приезжайте когда хотите, покажу вам Англию».

Но это не вызвало никакого энтузиазма. «Да нет, — нетерпеливо перебила она. — Я говорю, когда же здесь увидимся?»

Это меня удивило. И я ответила, что таких планов у меня нет.

Звонки туда и обратно продолжались теперь весь наступивший 1983 год, а затем и 1984-й. Мне было неожиданно трудно сочетать мою обычную жизнь за рубежом — ставшую для меня уже давно нормой, в особенности после рождения Оли, — с этими вестями оттуда. Я сделала невероятное усилие забыть, что там кто-то и что-то существует, почти перестала говорить по-русски, и мои заботы были все по эту сторону. Теперь я вдруг узнавала новости и подробности о моих двух внуках, нечто о Кате, а главное — не переставал звучать в ушах голос сына — какой-то совсем другой… А когда прибыла и его теперешняя

фотография, я поняла, что голос должен был стать иным.

Передо мной на фото был не тоненький элегантный мальчик с короткой стрижкой и юмором в глазах; на меня смотрело стареющее лицо с мешками под глазами лысоватого, но главное — совершенно подавленного человека. Я так испугалась этой фотографии — напомнившей мне моего брата-алкоголика в последние годы его жизни — что немедленно же позвонила в Москву и потребовала объяснений.

«Ты — пьешь! — сказала я без предисловий. — Я узнаю эти опухшие глаза. Мы их видели предостаточно». Сын смеялся, но ничего не объяснял. Голос его был теперь грубым, он часто сквернословил в письмах и по телефону, как это любил делать и мой брат. Что это — показная близость к народу, как полагают сегодня многие советские интеллигенты? Он говорил, что его Люда «из простых и хорошо готовит». Так, может быть, — это, чтобы быть с ней в унисон? Он не был таким с Еленой, умной, красивой переводчицей с французского и польского языков. Вдруг стало страшно за него. Внезапное сходство с моим братом, которого он раньше не обнаруживал, было тревожным знаком.

Я предложила, чтобы мы вес встретились летом I984 года в Финляндии, в каком-нибудь курортном месте: советским разрешали довольно легко ездить в соседнюю Финляндию. Мне так хотелось видеть его, не только слышать. Но он сказал, что это невозможно. Тогда я предложила, чтобы он просил правительство о посещении меня в Англии: всем было известно, что мы не виделись уже шестнадцать лет. Разрешили звонить, может быть, разрешат и поехать? На недельку? Я все оплачу. Нет, он сказал, что это также невозможно. Значит, они там оба полагают, что я могу приехать туда. Но такая мысль была для меня все еще совершенно дикой.

Я ждала ответа от издательства «Даблдэй» в Нью-Йорке, о возможности публикации «Далекой музыки» в Америке. Заканчивала перевод на русский «Дневника Кришнамурти». Оля с восторгом наслаждалась своей комнатой в нашей квартирке, где все было просто, чисто, светло и так уютно и комфортабельно — по сравнению с мансардой на Чосер Роуд. Окна выходили в Ботанический сад Кембриджа, прекрасные цветы и деревья всегда были перед нашими глазами. У нас были милые соседи, и у нас были хорошие друзья в Англии. Казалось, все постепенно входило в русло и можно было бы радоваться жизни и тому, как хорошо мы устроились в этой новой для нас стране. В августе мы отправились снова на острова Силли, затерянные среди Атлантики, чтобы купаться в чистом океане, гулять по диким тропинкам на необитаемых островах этого крошечного

архипелага, сидеть в прекрасном саду аббатства на острове Треско, забыв обо всем на земле.

Однако по возвращении в Кембридж я обнаружила, что сын не провел своего отпуска на Черном море, как он обычно делал, а пробыл все это время в больнице. На мои вопросы он отвечал уклончиво, что только еще больше меня взволновало. Что-то было очень серьезное с его здоровьем — фотография только подтверждала это. Я любила старые фото 1967 года — Кати и Оси, — сделанные фотокорреспондентами в Москве, и они всегда стояли в моей комнате. Теперь они говорили, укоряли, кричали на меня. Подсознательно готовясь принять мысль о возможности поехать в СССР я написала Олиной тетке в Калифорнию, спрашивая ее, возьмет ли она на себя полную ответственность за племянницу если со мною случится что-либо неожиданное. Моей первой мыслью было не брать Олю с собой.

Но ответ мне ничем не помог. В отличие от своего порывистого, искреннего брата, его сестра всегда подолгу обдумывала каждый шаг и слово, нередко советуясь с адвокатом. Теперь она просила, чтобы я предоставила ей письмо от врача, характеризующее мое состояние здоровья: была ли действительно какая-то серьезная опасность?.. Я вдруг совершенно разъярилась на весь американский образ жизни и мышления — такой деловой, такой бессердечный, — как казалось мне в этот момент. Не могла же я сказать ей, что вдруг смогу поехать в СССР!

Смогу?.. Теперь надо было подумать об этом всерьез.

* * *

В интервью, данном в 1984 году в Англии «Обзерверу», я постаралась без обиняков сказать, как непереносима стала мне разлука с детьми и теперь уже — двумя внуками. Мне хотелось, чтобы публика поняла, как это важно для меня. Но репортер нажимала больше на политику и пропаганду, на все то, что она считала важным в моей жизни… Статья была длинной, сумбурной и совершенно не отражала (как это всегда бывает) реальностей моей жизни. Хотя она и приводила дословно мои слова, в общем контексте статьи невозможно было уловить этой ноты.

Позже мне часто думалось, что, если бы мы жили в США, мы обе не испытывали бы такого чувства оторванности, которое наполняло нас в Англии. Здесь мы были чужестранцы, эмигранты, резиденты. Никому и в голову не приходило считать меня американкой — хотя я уже шесть лет имела американское гражданство, и в Америке я была «одной из нас» уже давно. Даже

Ольгу здесь считали какой-то полурусской эмигранткой, хотя она все еще не знала ни слова по-русски и продолжала во всем вести себя, как американская девочка.

В Америке вас немедленно включают в общую жизнь, и вы становитесь частью ее, хотите вы этого или нет. В Англии вам этого никто не предлагает, ибо принадлежность к британской нации — священна, и ее не бросают к ногам каждого приезжего. Прибывших на Острова после второй мировой войны хватает с избытком, и у них имеется законное право считать, что они — дома. Оля попала только в интернациональную школу именно потому, что по законам бюрократии мы принадлежали к этому «второму сорту». Учебные заведения высшего класса — для урожденных британцев, а не для нас. Это ощущение было не всегда приятным, но мы сжились с ним в силу привычного для меня интернационализма и отсутствия ложной гордости.

Однако чувство дома было здесь нами утеряно. Возможно, что чувство, которым мы долго наслаждались в Америке — в Принстоне на Вильсон Роуд, в Калифорнии в Карлсбаде, в Висконсине — возможно, что оно удержало бы меня от мечтаний о «доме и семье» там, далеко, где я их оставила, в СССР. Теперь же наш американский дом не существовал более. И как ни приятна была традиционность старой, прекрасной страны, как ни восхищала красота средневекового Кембриджа и вековая история Лондона, мы все-таки чувствовали себя здесь пришельцами. Даже в малопереносимой Аризоне мы были — в свое время — дома. Сейчас же чувство отчуждения возрастало с каждой минутой и определенно помогало тянуться к тем, кто остался так далеко: к дочери, сыну, но сильнее всего — к двум внукам.

Помня отличные школы в Москве на английском и французском языках, начатые во времена Хрущева, я надеялась, что именно в одной из них Ольга сможет найти дружественную среду. Популярность Америки среди молодежи всегда была сильна в СССР, и отношение к девочке безусловно было бы дружеским, думала я. И уж безусловно, воображение рисовало теплые, даже горячие объятья, в которые заключат ее брат, сестра и племянник (то есть, мой внук Илья), почти ее ровесник. У нее сразу же появятся кузены и кузины — мои племянницы и племянник. Она встретит четырех «витязей прекрасных» — моих двоюродных братьев Аллилуевых, приходящихся ей дядьками. И все это венчает, полагала я, ее тетя Кира Аллилуева, моя кузина, актриса на пенсии веселая, беззаботная душа, любящая молодежь. В наших мечтаниях я не видела ничего, кроме любви, которая несомненно окружит тринадцатилетнюю девочку, всегда так искавшую любви родственников, но не находившую ее среди

своих американских братьев и кузенов. Но как подать ей эти мысль?.. Она не раз уже выражала интерес к кратковременной ной встрече с братом и сестрой «из России», даже поехать туда «ненадолго». Но как она встретит идею о «насовсем»?.. Ни на одну минуту не возникала в моей голове даже мысль о возможности недружелюбной встречи. Тут работал со всей силой мой идеализм, и ничего, кроме любви, он мне не обещал. Ну, а уж если будет любовь да согласие, так со всем остальным мы как-нибудь справимся. Все остальное, то есть реальности советского строя и общества, как-то отступили вдаль в моем сознании. Я думала лишь о людях, которые были там, и были так нужны и дороги.

Правда, сын уже высказывал по телефону какие-то туманные сомнения насчет того, «напишет тебе Катя или нет». Почему-то он вообще мало что о ней знал, по-видимому, видел ее крайне редко, и не очень много смог мне сказать о сестре. Но я все еще видела Катю девочкой шестнадцати с половиной лет, любящей и близкой мне! Никаких иных возможностей просто не могло быть. Поразительно, как ум подтасовывает факты, предлагает доказательства, когда сердце уже приняло решение.

И вот, в сентябре Ольга только что отправилась в свой пансион после летних каникул, которые мы провели с ней вместе на островах Силли в Атлантическом океане. Я только что приобрела, наконец, деревянный круглый стол, который должен был служить столовым столом в нашей большой комнате. В углу ее находилась «кухня» (плита и холодильник), а остальное пространство занимала «гостиная плюс столовая плюс кабинет» — по современной планировке этих небольших квартир. Стол был сделан в Югославии, сосновый стол, импортированный в Англию. Фотографии сына и дочери всегда стояли на самом видном месте, где бы мы ни жили. Сейчас они смотрели на меня с полок секретера, поместившегося между двух высоких окон, выходивших на Ботанический сад Кембриджа.

Я знала, что надо было что-то решать, Я знала, что поездка в СССР будет воспринята повсюду в мире только с политической точки зрения и что меня все будут поливать помоями. Чувства матери? Да кто этому поверит?! Не в силах больше молчать, я отправилась к знакомой на Чосер Роуд на чашку чаю и спросила ее за столом:

«Могли бы вы жить, не видя своих внуков? Или детей!? Не показалась бы вам тогда ваша жизнь бесцельной?» Она серьезно посмотрела на меня, и ответила: «Нет, я бы не хотела для себя такой жизни». Для меня в этих словах был ответ.

Дома я позвонила по телефону Владимиру Ашкенази,

который был до тех пор всегда хорошим другом. Мы часто встречались во время его гастролей в Америке и в Англии. Он всегда находил для меня время, хотя был безмерно знаменит, занят и быстро уставал. Сейчас, слушая по телефону мой довольно бессвязный разговор, он едко заметил:

«Ну, знаете, если вам здесь не нравится, и в Штатах не нравится, так не поехать ли вам обратно в Советский Союз?»

Меня огорчили его слова. Меня уязвил его тон: еще смеется! Хорошо ему, вся семья и дети с ним, живет королем в Швейцарии, повсюду резиденции… И я ответила в его же тоне: «А что ж, возможно, и воспользуюсь вашим советом!» И повесила трубку.

Чем больше я понимала рассудком, какой шок вызовет у всех наша поездка в СССР, тем больше логика сердца настаивала на ней. Я даже заглянула в астрологический совет на ближайшие дни и прочла: «Не предпринимайте никаких серьезных решений, так как ясное понимание сейчас затуманено».

«Глупости!» — сказала я сама себе. И села писать письмо советскому послу с просьбой разрешить мне возвращение.

3
НАКОНЕЦ — СЫН

Дорога в город из аэропорта Шереметьево долгая, и, насколько я припоминаю, она шла через леса и сельскую местность. Теперь же мы очень скоро въезжаем в полосу пригородов Москвы, и уже нет никакого отдыха от монотонности одинаковых многоквартирных блоков, тянущихся без конца и без края. Я как-то ничего не узнаю из того, что знала об этих местах.

Все переменилось, все стало чужим. Только ближе, ближе, когда начинается Ленинградское шоссе — теперь проспект, — узнаются некоторые старые здания и очертания. Все это — странно, как в сновидении. Вот старые аллеи Ленинградского шоссе, вот белорусский вокзал…

Встретившая нас представительница Комитета советских женщин не умолкая объясняет мне размах строительства и прочее, — как это и следует объяснять туристу, или всем тем иноплеменным женщинам, которые приезжают в Москву на конференции и которых она, несомненно, встречает вот так же с букетиком в руках… Бедняжка! Зачем ее заставили встречать нас? Ей трудно, она совершенно теряется, как с нами говорить, «Мы вас поместили, как наших гостей, в старую гостиницу „Советскую“, — находит она наконец тему. — Здесь останавливаются только советские гости и некоторые наши зарубежные друзья. Прессу и иностранцев вы здесь не увидите». Понятно. Это — очень мило с ее стороны, оградить нас от прессы. Что-то я не помню, чтобы в Москве безумствовала пресса… Но, возможно, времена переменились. (Это подтвердили дальнейшие события.) Странно звучат в ее устах слова «иностранцы», Нас с Олей она уже считает советскими. Так, значит — мы — официальные гости Комитета советских женщин. В чем еще это выразится?

Как трудно вот так, неожиданно, переключиться в советскую жизнь и охватить все значение этих слов. Как я забыла все, как вошла полностью в совершенно иные правила жизни. «За вашу комнату уплачено, не волнуйтесь об этом», — добавила она. Ее рассмешило, что в аэропорту я, по привычке, искала обменную кассу, чтобы обменять английские фунты на рубли. Она мне и подумать об этом тогда не дала, а потащила к выходу, пробормотав только «Ах, да оставьте вы это…» Предрассудки ваши оставьте: это у вас там в Америке — деньги, а нам тут деньги не нужны! Эта мысль отражалась на ее лице и теперь. Она

меня презирала и жалела.

Однако мне было не до этого. Через несколько минут мы встретимся с моим сыном, его женой… У меня кружится голова от этой мысли. Хорошо бы избежать зрителей… Чтобы никого не было вокруг, никого.

Ольга озирается на огромный город. Она видела Нью-Йорк, Лондон. Но обычно мы всегда жили в маленьких городках или пригородах. Это для нее — громадный город, через который мы ехали уже около часа. Любопытство в ее глазах — скорее, знак положительный. Она не угнетена.

И вот — беломраморное громадное фойе гостиницы «Советская», куда мы входим через крутящуюся дверь. И там наконец я вижу Осю в пальто. Он идет мне навстречу с раскрытыми объятиями. Мы обнимаемся и стоим так, ничего не говоря, посреди этого зала. Там также его отец, Гриша, которого я совсем не собиралась увидеть. Рядом с Гришей стоит полная высокая женщина лет под пятьдесят, с седеющими волосами, и я полагаю, что это его дама. Но вот мой сын берет ее за руку и подтягивает ко мне, со словами: «Мама, это — Люда».

Я обнимаю и ее, она обнимает также Олю, и я не хочу выдавать ничем своего шока — она выглядит намного старше моего сына, а образ Елены, его первой жены, почему-то неотвязно встает перед глазами. «Ладно, ладно, он ведь сказал тебе уже, что счастлив, что она хорошо готовит. Не суйся, не суйся не в свое дело», — одергиваю себя. Но что-то в Людином лице никак не дает мне успокоиться. Слава Богу, что Гриша здесь!

Он все делает простым и легким, насколько это возможно в таких обстоятельствах. Он уже болтает по-английски с Ольгой, он идет вперед, он говорит нам, что нам теперь делать, куда идти… Иначе мы все так и застыли бы там, посередине этого фойе на беломраморном плитчатом, скользком полу. Ольга как-то очень тиха, брат не подошел к ней и не обнял ее, но, может быть, это все еще впереди… Гриша ведет нас всех к лифту. Спасибо, что ты пришел.

В громадном двухкомнатном номере (неимоверная роскошь по советским стандартам) мы продолжаем натыкаться друг на друга, бессвязно бормоча какие-то слова. Ведь Ося говорит по-английски, почему он не обращается к Ольге? Люда пошла в ванную налить воды в вазу для цветов, «а то завянут». Практичная. Так и надо в эти времена. Гриша, который уже обо всем распорядился, заявляет, наконец, что нам следует «освежиться с дороги», а потом нас ждет стол внизу, в ресторане.

«Это же бывший „Яр!“ — сообщает он радостно, — „Яр“, помнишь? Цыгане, гитары». Ничего я не помню. Какой «Яр»? При

чем тут «Яр»? При чем тут — цыгане? Гриша выглядит самым счастливым из всех нас и наслаждается ролью распорядителя. Слава Богу, слава Богу, что он здесь.

В ванной Ольга поворачивается ко мне со злыми глазами и произносит: «Он только посмотрел на меня сверху вниз, потом — снизу вверх, и не сказал ни одного слова…» — «Он не обнял тебя?» — «Нет». Ничего, ничего, не будем волноваться и сразу же делать выводы. «Деточка, он в обалдении. И я также. Ты пойми!» Она не отвечает. Ничего, ничего. Давайте не развалимся на части, давайте будем продолжать, ведь надо же продолжать эту встречу теперь уже, по-видимому, бесконечно…

В ресторане мы садимся за длинный под белой скатертью стол, на котором уже стоят закуски, селедки, салаты, винегреты и батарея бутылок. Ося садится слева от меня, и мы держимся за руки: хоть это напоминает мне, каким он был. Он совсем не такой, каким был. Теперь я вижу это ясно, он выглядит старше своих тридцати девяти лет, лысоват, полноват в талии, ничего не осталось от молодого стройного мальчика с веселыми глазами… Вот рука как будто еще его, и мы молча сжимаем руки. Говорить трудно, так как действительно хор из «Яра», помещающегося ярусом ниже, беспрестанно что-то орет и музыка запущена на всю мощь усилителей. Я беспомощно смотрю на Гришу, и он разводит руками — мол, знаешь сама! — и уже накладывает что-то в тарелку Ольге, которая, слава Богу, сидит рядом с ним, напротив от меня.

Гриша наливает всем водки — потому что вот так вы встречаете сына после семнадцати лет разлуки… Я не пью этот яд, никогда не любила водку, но тут приходится подчиняться правилам и традициям: нам всем надлежит напиться, лишиться всякого рассудка, плакать горючими слезами, обниматься, целоваться и рыдать друг у друга на плече… В силу своей образованности мы не можем себе этого позволить, но мы все-таки напиваемся, конечно, все в этот вечер как следует. Нельзя даже и помыслить, чтобы этого не произошло.

Я все время держу в своей левой руке правую руку сына и нахожу, что и рука изменилась. Она была худой, с длинными пальцами, изящной такой. Теперь пальцы стали короткими и толстоватыми — возможно ли такое? Совсем иная рука. Я смотрю на него, он смотрит на меня, мы не говорим. Гриша ведет весь разговор, переводя кое-что и для Ольги. Он выглядит прекрасно в свои шестьдесят три, хорошо одет. Он выглядит почти что моложе нашего сына… Завтра, говорит он, предстоит встретиться с разными людьми и начать все разговоры о школе и так далее… Если я буду в состоянии делать это завтра, после всех этих

непривычных возлияний. Завтра безо всяких там эмоций, надо будет иметь свежую, ясную голову. Но сегодня мы все неизбежно празднуем…

Я смотрю на Ольгу, ковыряющую вилкой винегрет в своей тарелке. Гриша наливает ей лимонаду. Потом кладет ей кусок жареного мяса с картошкой. Она молчит. Ей только тринадцать с половиной лет. Ее брат не сказал ей пока что ни слова.

4
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

На следующий день к нам пришел бывший однокурсник Гриши по Институту международных отношений, а ныне преуспевающий советский дипломат и зять Громыко. Мы были знакомы в общем около сорока лет и могли разговаривать без формальностей.

Он принес громадную коробку шоколадных конфет для Оли и бутылку шампанского, которую мы тут же распили. После этого он весьма дружески назвал мне ряд лиц в иерархии министерства иностранных дел, хорошо известных ему, с которыми он советовал мне установить связь. «Звони им или их женам когда угодно, тебя выслушают и дадут совет», — говорил он. Потом назвал имена официальных представителей правительства (тоже мидовских), которые должны появиться, чтобы начать наше приспособление к советской жизни.

Я задала несколько вопросов, волновавших меня, — именно о школах на иностранных языках, но он очень мягко и дипломатично дал мне понять, что все вопросы мне надлежит задавать и обсуждать именно с теми двумя, которых мы скоро встретим. «Я — только передаю тебе новости. А там — будь уверена, что тебе пойдут навстречу во всем! Все так рады твоему возвращению. Я всегда помнил тебя еще со студенческих лет в университете. Помнишь семинары профессора Звавича?»

Тогда у него была другая жена, и он сказал, что их сын теперь также преуспевает на дипломатическом поприще. Ну, безусловно, нашим детям было теперь уже под сорок лет. Он ушел, оставив позади благоухание хорошего одеколона и впечатление дружелюбности.

Затем мы встретились с двумя чиновниками из МИДа, с представителями Совета министров и с министром образования — и начали процесс узнавания моей бывшей страны. Я совершенно отвыкла от советского образа жизни и возвращение в него, в его обычаи и нравы, было для меня сейчас так же трудно, как и для ничего не понимавшей Оли.

Министр среднего образования РСФСР была молодой энергичной женщиной, очень приятной и открытой в обращении — совсем как молодой Андропов, посол СССР в Афинах. Она совершенно подкосила меня сообщением, что «английские школы уже давно закрыты, как эксцентричная выходка Хрущева. Теперь даже учебники от тех школ трудно найти». Это был серьезный

удар, так как было ясно, что Оле нелегко будет найти дружескую среду сверстников. Было предложено, чтобы она усиленно начала заниматься русским языком сейчас же: с завтрашнего утра… «Преподавательница есть. Она говорит по-английски и готовила индийских студентов к поступлению в советские университеты» — сказала министр.

Пока я выясняла все это, Олю увела в другую комнату миловидная молодая учительница Наташа, преподававшая английский и драму в одной из школ, куда думали сейчас же послать Олю. Однако Наташа оказалась человеком нового воспитания. После часового разговора с Олей по душам она вынесла вердикт: ни в коем случае не насиловать девочку, не заставлять ее идти в советскую школу, так как это может вызвать «нервное потрясение у этого ребенка». Услышав такие слова, я поняла, что прогресс уже пришел в СССР; в мои дни никто не думал о таких вещах! Наташа пришла вместе с Олей, у обеих были красные от слез глаза, и, к счастью для всех нас, министр школ приняла рекомендацию детского психолога — которым также оказалась эта Наташа — как руководство к действию.

Однако власти наверху, по-видимому, настаивали, чтобы Оля немедленно же уселась за парту. Поэтому нам решили показать несколько школ с «повышенным преподаванием английского языка» — то есть школы, где дети могут объясняться по-английски.

Директор первой такой школы встретил нас с нескрываемым ужасом. Он прямо заявил мне, пока Ольгу водили по классам, что «все это будет очень трудно, очень трудно и для нее, и для всех нас!» Произнес он это с таким выражением, что мне стало понятно, что именно он имел в виду: Олиного дедушку, чьей тени он не желал в своей школе. Мне было жаль мою бедную американку, — что из нее тут делали эта примитивные политики. Но с другой стороны, нам легче было знать, что школа ее не желает. Это даже помогало нам теперь настаивать, чтобы ее оставили заниматься дома!

Другая школа принимала ее с распростертыми объятиями, но там ученики совсем не говорили по-английски, и учителя также. «Ничего! — сказала радостно директорша, — у нас тут вьетнамские дети поступают, ни словечка не знают, а смотришь, через полгода — уже заговорили!» Я сказала, что спасибо, нет, мы лучше не будем экспериментировать.

В третьей школе за Олю так серьезно ухватились директор и завуч, что пришлось с ними повоевать. Очевидно, они поняли инструкции и пожелания сверху и решили, что справятся с задачей. Завуч с металлическими глазами и хорошим знанием

английского так напугала Олю всем своим тоном холодного учителя (этого она до тех пор еще не видела), что Оля начала умолять меня не посылать ее туда. Я и не собиралась посылать ее в эту показушную школу, куда приводили каждого иностранного гостя, чтобы посмотреть советских ребят, немного упражнявшихся в английском языке. Тут и Олю будут показывать как достопримечательность — смотрите, мол, как мы ее быстро перевоспитали! Нет, несмотря на бассейн для плавания — редкость в советской школе неслыханная — сюда-то уж она никогда не пойдет, решила я.

А в другой школе вышел курьез: Олю отправили осматривать классы вместе с девочкой из Австралии, учившейся тут и свободно говорившей по-английски. Когда они вернулись, я заметила веселые искорки в ее глазах. «Все хорошо», — сказала она на вопросы учительниц. Дома Оля рассказывала мне совсем иное.

«Знаешь, эту девочку родители привезли сюда еще ребенком. Теперь она только и мечтает окончить школу, стать переводчицей, выйти замуж за иностранного туриста и уехать с ним отсюда!» Оля была взволнована такой неожиданной храбростью и предприимчивостью. А мне казалось: как это трогательно, что девочка захотела предупредить Олю и не стала ей лгать.

Я заверила Олю, что ее ни в коем случае никто не станет насильно посылать в школу, но что ей придется начать учить русский язык. На это у нее не было возражения. Главное — нужно было немедленно же занять ее работой, тогда она погрузилась бы в полезную деятельность, а это только содействует положительному отношению к жизни. Сказать по правде, я не подозревала, что через тридцать лет после смерти Сталина политические страсти вокруг его имени все еще так накалены (даже больше, чем раньше) и что моя Оля окажется жертвой борьбы вокруг его имени.

Мы старались тем временем повидать как можно больше родичей и друзей — чтобы хоть как-то загладить холодный прием, оказанный ей сыном, и полнейшее молчание Кати, моей дочери.

Казалось, все было хорошо по туристской части, и Оля осталась очень довольна осмотром Кремля, но не Третьяковской галереи, где репинский «Иван Грозный, убивающий сына» показался ей настолько ужасным, что она долго потом боялась увидеть эту картину во сне…

Большой театр ее особенно не потряс Но она просиживала часы перед московским телевизором, вперяясь в старые советские

музыкальные комедии, наслаждаясь песнями и незнакомыми лицами и пытаясь догадаться о происходящем без знания языка. Казалось, телевизор и кино раскрывали ей смысл новой для нее страны куда лучше, чем гиды-переводчицы. Уроки же русского языка она встречала теперь каждое утро с интересом. До этого она немного знала французский, и еще один новый язык занимал ее. А я все еще надеялась, что как-то все образуется, как-то все уладится и что мы, наконец, окажемся с Олей в атмосфере семейного тепла. Хотя первые признаки того, что это, возможно, было беспочвенным мечтанием, были уже налицо.

* * *

Тем временем правительство начало оказывать на нас давление. До сих пор мы сталкивались с гостеприимством и щедростью: теперь — пожалуйте расплачиваться. Как говаривал один мой старый всезнающий друг: «Здесь вход всегда бесплатный; расплачиваешься при выходе».

«Наверху» прекрасно понимали, что, пока я не вступлю в контакт со старшей дочерью Катей, я все еще нахожусь в неопределенности относительно наших дальнейших планов. Поэтому на нас начали нажимать немедленно, хотя мы все еще были в растерянности. Мы не могли тут же уехать…

Двое чиновников из МИДа оказались сравнительно молодыми бюрократами — один брюнет цыганского вида с приличным знанием английского языка, другой с розовыми щечками и голубыми глазами говорил только по-русски, очевидно из чувства патриотизма. Они оба немедленно заявили, чтобы я подала прошение о восстановлении меня в гражданстве СССР и о «принятии дочери Ольги» в таковое. Последнее меня удивило, — уж очень скоро они все захотели. Да и двойное гражданство Ольги, уроженки США, было бы фактом.

«Нет! — твердо заявил Розовые щечки. — Мы не признаем двойного гражданства». «Нет, нет, не признаем», — вторил ему брюнет. Я даже рассмеялась непочтительно. «В мире существуют случаи тройного — и — более гражданства, я сама встречала таких людей в Америке. Мир сегодня в движении, люди больше не живут на одном месте всю жизнь!» — «Советский Союз ничего подобного не признает. Получив однажды советское гражданство, советский гражданин остается советским гражданином при всех обстоятельствах!»

Я поняла, что это был просто один из тех моментов, когда в СССР полагают, что могут диктовать международные правила и

законы по собственному желанию. Пережитки гоголевских времен. Собакевичи. Чего с ними спорить: бесполезно. «У Ольги останется навсегда двойное гражданство», — повторила я. В этот момент было предельно ясно, что, несмотря на все «вежливости» и «щедрости», мне дают понять, где я, и кто решает нашу судьбу. Я решила делать то, что от нас требуют, потому что в данных обстоятельствах просто не было иного выхода и потому что я все еще надеялась как-то урегулировать наши семейные дела.

Поэтому я написала заявление, которое мне буквально продиктовали. У меня не было никакого оружия, чтобы сражаться, и нервы были на пределе. А к формальностям особого почтения я никогда не питала.

Гриша согласился со мной, что «положение серьезное». Но теперь он, будучи опытным дипломатом на поприще международного права, с прекрасной карьерой, поездками за границу, лекциями и прочими атрибутами своих достижений, не хотел, конечно, вступать в борьбу. Он все еще полагал, что я такая же, как была сорок лет тому назад, и не желал думать о моем американском опыте. Я же видела, что мне сейчас не под силу вступать в сражение с властями, так как самым важным было как-то обеспечить Ольге сносное существование. Я написала поэтому все, как мне продиктовали.

Весь процесс, обычно занимающий месяцы, завершен был в два или три дня. 1 ноября 1984 года Верховный совет подписал указ, а приехали мы сюда только 25 октября. Скорость неслыханная.[5]

По завершении этого процесса, один из наших опекунов пришел, чтобы забрать наши американские паспорта и, как он выразился, «вернуть их в посольство США». Тут я поняла, что последует немедленная реакция — и она последовала.

Мы узнали — вернее, догадались о ней — по тому факту, что возле входа в гостиницу на следующее утро собралась толпа иностранных репортеров, аккредитованных в Москве. Как ни в чем не бывало, мы вышли в тот день, чтобы ехать смотреть еще одну из московских школ. И вдруг молодой человек в вязаной лыжной шапочке с телевизионной камерой на плече приблизился к Ольге и спросил ее по-английски: «Вы — Ольга Питерс?» — «Не говори с ними!» — крикнула я, схватила ее за руку, и мы прогалопировали назад в гостиницу.

Последующие дни было невозможно выйти из гостиницы — нас ожидали внизу репортеры. Я пошла однажды утром (пока Оля занималась русским языком) к своему кузену Сереже Аллилуеву; всего несколько кварталов от гостиницы, но заблудилась. За мной следовал высокий, могучий чекист в штатском. Через несколько

минут появились репортеры, я просила их уйти. Чекист начал толкать их кулаками, и один, с камерой на плече, чуть не упал. Я кричала на чекиста по-русски, чтобы он остановился, на репортеров — по-английски, чтобы они ушли, — в СССР не дают интервью на улицах — но обе стороны упорствовали. Тогда, потеряв терпение, я «послала» его по-русски, а их — по-английски, совершенно не думая о том, что могу попасть в таком виде на экран… Оказывается — я попала, но из кинохроники вырезали этого чекиста. Так что непонятно было, почему я так разозлилась. (Это я узнала по возвращении в США.)

Затем — наши опекуны из МИДа доставили мне в гостиницу письмо от консула США. Его показали мне издалека, но не дали в руки, так как там был указан телефон, по которому я могла позвонить в консульство… Запомнить телефон с одного взгляда я была не в состоянии, но письмо говорило о том, что мне было хорошо известно: что мое и моей дочери американское гражданство остается в полной силе, пока мы не пожелаем от него публично отказаться, в присутствии посла США и под присягой. Значит — двойное наше гражданство является теперь фактом, хотя советские спорили со мной! Письмо унесли, несмотря на то что оно было адресовано мне. Я не сопротивлялась и не поднимала шум: теперь надо было сохранять силы и нервы для дальнейшего.

Я официально попросила власти дать мне возможность собрать на пресс-конференцию, на которой я надеялась ответить на возникшие вопросы. Мне хотелось объяснить положение и сделать ясным, что наша поездка продиктована чисто личными причинами и что не следует делать из нее больших политических выводов.

Мне было сказано, что я должна написать мой текст по-русски, чтобы затем отдать его переводчику. Это делается для того, чтобы переводчик мог бы интерпретировать текст по-своему, а также, чтобы исключить какое бы то ни было прямое общение между мной и репортерами… Ведь все же знали, что я могу говорить по-английски!

Это была комедия. В появившихся затем сообщениях советских газет значилось, что якобы я сказала что «была тренированной собачкой ЦРУ». Я вообще не упоминала ЦРУ ни разу, но сказала, действительно, что «ко мне относились хорошо, я была любимицей — a pet». Вот это слово и было превращено затем Агентством печати «Новости» в «дрессированную собачку ЦРУ». Не знаю, удалось ли мне дать понять публике, что мы ехали на встречу с семьей… Репортеров было очень мало, главным образом из стран Восточной Европы. Позднее в печати

появились даже приписываемые мне заявления, вроде «я ненавижу Америку».[6] Я знала, конечно, что все будет переврано, что весь мир против меня в эти дни, но все же пыталась объяснять снова и снова, что «поездка была вызвана только чисто личным желанием соединиться с семьей — с детьми и внуками».

После этого мне позвонил ужасно рассерженный Федор Федорович (Фефа) Волькенштейн (старый друг, которому были адресованы «Двадцать писем») и ругал меня так, как будто бы я действительно сказала все эти глупости о ЦРУ и т. п. Я пошла его повидать — мне было обидно, что он так огорчен.

Он жил все так же в высоком здании у Зоопарка с компаньонкой, смотревшей за ним; жена его умерла, Я долго ждала у двери, пока не услышала шарканье домашних туфель по полу. Это был страшный незнакомый звук. Мне сказали, что Фефа очень постарел и серьезно болен. Но он был все таким же внутренне, и он был рад меня видеть. Мне пришлось уверять его, что я не говорила ничего подобного.

Он долго молчал, потом сказал с силой: «Зачем ты приехала? Зачем? Мы все привыкли к тому, что ты живешь за границей. Твои дети в порядке — ты же знала это. Что ты будешь теперь здесь делать? Ты видишь — как твой приезд использовали для пропаганды. Ведь тебе-то этого не нужно!»

Я молчала. Он прав, конечно, как всегда. Я еще не могла сказать ему — «мы уедем», так как я все еще надеялась. Это было жестоко — не давать мне права любить своих детей. Но он был прав. Это я также знала.

Все в комнате было как тогда, более двадцати лет назад. Портрет молодой цветущей Наталии Васильевны на стене. Фефа всегда сидел, стоял, говорил, как бы не выходя из поля зрения больших серых глаз своей матери. Безусловно, Фефа помнил их собственное возвращение из эмиграции в 1922 году, когда его отчим, Алексей Толстой, и Наталья Крандиевская, его мать, решили вернуться в советскую Россию. Фефа потерял мать, навсегда разошелся с Толстым, сделавшимся советским вельможей. О, Фефа знал, что говорил! Возвращение — это иллюзия. Он был очень болен. В таком состоянии здоровья никто не притворяется и не пытается говорить приятные вещи. Федор Федорович Волькенштейн умер всего через несколько месяцев после нашего свидания.

Я чувствовала в те дни, что погружаюсь в какие-то темные воды, как это бывает в дурном сне, когда все затопляется и знаешь, что тонешь. Кошмары о потопе — как говорят психологи. Глубоко подсознательная, жуткая вещь. Вот так именно я и чувствовала себя в те дни.

Тем временем власти решили по-своему. Они считали, что пора нам «осесть», переехать из гостиницы, где мы жили уже несколько недель, и отправить Ольгу в ту самую показушную школу с бассейном для плавания, где она так боялась завуча. И нам была предложена колоссальная квартира в здании рядом: в новом доме, выстроенном недавно исключительно для членов Политбюро и их семей. Нам была показана квартира покойного Пельше — более девяноста квадратных метров. Ольге понравились довольно модерные интерьеры, великолепный вид на Москву открывался сверху, с какого-то — надцатого этажа… Но она ничего не понимала: жизнь была бы, как в клетке, с постовым у дверей, при входе.

«Начинайте жить!» — сказал официальный представитель Совмина, показывавший нам это великолепие, как будто до того мы еще никогда не существовали. По советским стандартам, это был верх роскоши. Это был также верх — дальше некуда — того состояния постоянной показухи, в котором нас по-видимому, решили теперь держать: дом был рядом с этой показной школой, на Спиридоньевке, то есть совсем рядом также с Домом приемов МИДа, который посещает в различных обстоятельствах весь московский дипкорпус и все иностранные корреспонденты. Как ни оторвалась я от московской жизни, но тут уж даже мне было ясно, что это за жизнь у нас будет. И я сказала вежливо, что «это все прекрасно, но уж слишком большая площадь для нас двоих» и что мне надо подумать.

«Подумайте, подумайте! — бодренько отозвался представитель Совмина. — Хватит уж вам кочевать. Вот и дочке понравилось здесь, да?» — сказал он весело и получил в ответ фотогеничную улыбку, без которой в Калифорнии не рождается ни одна девочка. Он истолковал это как знак согласия. Но я-то понимала, что если мы сейчас примем вот этот статус, предлагаемый нам, этот образ жизни, то мы обречены. Потому что впоследствии мы будем существовать в этой золотой клетке, и моя дочь будет первой, кто взбунтуется против такой жизни.

Мне дали еще некоторое время, чтобы подумать.

5
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

В то же самое время мы общались с семьей сколько могли. В квартире сына меня встретила моя старая мебель — так странно было видеть эти кресла, диван-кровать, письменный стол, книжные полки с моими книгами — они глядели на меня в упор, как из какой-то сюрреалистической картины… Все это собиралось по кусочку в 50–60 годы, венгерские кресла для гостиной, чехословацкая спальня, белые крашеные полки для книг сделаны плотником на заказ… В Москве никто особенно не печется о таких вещах. А я так и не научилась за годы на Западе собирать собственность и недвижимость. Но видеть все снова — было так странно. Никаких сентиментальных ощущений, скорее, какая-то онемелость, удивление…

Пришел мой внук, и, наконец, я смогла разглядеть этого приятного пятнадцатилетнего высокого подростка. Он походил на отца Елены, своей матери. Ничего общего с моим сыном я не нашла в нем, — он был как-то странно «не мой внук», — очень холоден, смущен, не знал куда девать руки, куда смотреть. Ольга преподнесла ему сникерсы и сумку «Адидас», купленные ею в Афинах, — и он не проявил никаких эмоций. Ее шокировало это — ведь это была ее собственная идея, она сама выбирала!.. В Америке всегда дети бросаются на любой подарок и горячо благодарят: здесь же принято не выражать чувств. Общение между ними не получалось — хотя Илья знал английский, а Ольга понимала немного по-французски. Пришел и Гриша и как-то сглаживал всю натянутость обстановки своей веселостью и добродушием: без него мы бы все заледенели.

Опять были закуски к водке и бесконечное питье оной. Казалось, как только в этом доме садились за стол, так начинали пить. Сын сказал, что у него повышенное давление и гастрит. «Так что же ты не соблюдаешь диету? — спросила я молодого врача. — Тебе творожок надо есть!» — сказала я, глядя на его хозяйку. «А мы творожок не любим!» — сказала она, немного кривляясь. Сын промолчал. Очевидно, она решает, что они едят и что пьют.

Мы ездили к ним на дачу, в Жуковку — это была та самая дача, где я жила в 1966 году, перед отъездом в Индию. Воспоминания тех дней о больном Браджеш Сингхе странно нахлынули на меня — Боже, как это было давно! Сюда тогда приезжали к нам посол Тикки Кауль и Мупад Галеб с женой,

повидать Сингха. Ося и Катя были тогда еще подростками, такими легкими, послушными, на зависть всем матерям… Елена тоже приезжала в гости, Ося ухаживал за ней.

«Где такую невестушку-то откопали?» — спросила я Гришу, улучив минуту, когда мы были одни. «Не говори! — замотал головой Гриша. — Он встретил ее на одной из пьянок. Когда Елена ушла и забрала ребенка, он начал дико пить с горя, кто-то был необходим ему как нянька — вот она и появилась… Мы все говорили ему, только не женись! Но он сделал, как хотел. Она, конечно, теперь заправляет всем, сильная баба. Не в моем вкусе!» — сознался Гриша.

Невестушка тем временем громко и раскатисто хохотала, подливая водки и накладывая маринованных грибов, картошки, селедки — всех тех яств, которыми славится русская выпивка. Ольга сидела, вперившись в телевизор: слава Богу, это ее всерьез занимало. Мне захотелось сказать нечто приятное Люде, и я сказала довольно опрометчиво: «Знаете что, Люда, если хотите — называйте меня мамой». Она ответила своей знаменитой фразой, которую мне не забыть, вдруг бросив на меня острый взгляд недобрых глаз. «Ну, это мы еще посмотрим!» — «Была бы честь предложена», — заметила я. Традиционно, ей следовало меня именно так и называть. Отказ означал: «Мы и без тебя просуществуем». В этом у меня не было никаких сомнений. Гриша в изумлении вертел головой.

Для компании Оле был привезен некий мальчик, якобы говоривший по-английски, но Ольга утверждала потом, что он ничего не понимал. Илью мы видели всего дважды, потом было невозможно заполучить его в гости. Хотя он жил с матерью очень близко от нашей гостиницы, и я звонила ей с просьбой, чтобы мальчик зашел к нам, но этого так и не случилось. Мать говорила, что он слишком занят.

Еще более удивительным для меня было то, что мой сын, несмотря на просьбу зайти ко мне в гостиницу, поговорить посидеть вместе за семнадцать лет, так и не удосужился это сделать. Он все отговаривался, что «Люда не может». А когда я прямо попросила его зайти одного, он придумал всякие причины, чтобы не приходить.

Мы были в Москве уже месяц. Повидали за это время всех моих кузенов Аллилуевых — и тут было действительно радушие к нам обеим. Мальчики, с которыми я почти что росла вместе, мамины племянники, мало изменились. Теперь в возрасте от пятидесяти до пятидесяти восьми лет они были все так же хороши собою: все высокие, стройные, худощавые, белозубые, с карими веселыми глазами — просто загляденье — и выглядели

все куда моложе своего возраста. Они были женаты, имели детей, хорошую работу; их жизнь идет хорошо — после ужасающих лет, когда их родители умирали, погибали в тюрьме. Они знали годы нищеты, страха, общественного остракизма, все на свете… Теперь они, наконец, довольны жизнью. К Ольге они были внимательны и теплы, и она это сразу же заметила. Мне так странно, что и у них — дети. Для меня они все еще «мальчики».

Один из них повел меня на Новодевичье кладбище. Возле могил мамы, бабушки и дедушки Аллилуевых, Павлуши и Жени Аллилуевых, Анны и Федора Аллилуевых прибавилась маленькая могила Василия Сталина — моего племянника, младшего сына Василия, умершего в двадцать лет от укола героина. Моя няня тоже похоронена здесь, и мы все соглашаемся, что необходимо перевезти сюда и Василия из его «казанского изгнания»…

Этому будет противостоять его незаконная (четвертая) жена Маша, якобы обладавшая правом похоронить его там, где ей вздумалось. Но мы-то знаем, что Василий никогда не был разведен со своей первой женой, Галиной, у которой все еще хранится их брачное свидетельство. Надо привести ее в суд, чтобы доказать, что она и есть единственно законная жена, что Маша не имеет никаких прав на могилу Василия, и тогда — открыть могилу и… доказать, что ему «помогли» умереть. Мы все знаем, что там было что-то очень подозрительное: не было ни свидетельства врача, ни вскрытия тела. Маша,[7] как она и сама говорила, «колола ему снотворное и транквилизаторы, чтобы не бушевал», — и это после алкоголя! Таким путем можно расшатать здоровье и слона. Василий же в то время, после семи лет тюрьмы, был крайне ослаблен, почти ничего не ел, страдал язвой желудка, артериосклерозом, но все же продолжал пить. На последних фотографиях он выглядел куда хуже, чем в тюрьме…

Я написала Громыко, прося его принять меня по этому вопросу: мы все хотели положить конец посмертным мытарствам бедного Василия. Однако Громыко не принял меня за все время моего пребывания в СССР и даже не ответил, хотя меня заверили, что он получил мое письмо.

Все эти мрачные дела, смерти, память о маме и посещение Новодевичьего кладбища повергли меня в такую тоску, что, казалось, я и сама прикоснулась к могильным камням и заглядывала в могилы… Чтобы отделаться от всех этих мыслей, мы с Олей пошли проведать моих племянников — приходящихся ей кузенами. Они были моложе и веселее, и это хоть немного отвлекло нас.

Гуля, дочь моего брата Якова, вышла замуж за араба-инженера из Алжира, и у них был сын, мальчик двенадцати лет, с

врожденным поражением слуха. Отец его, часто бывавший во Франции по делам, хотел повезти его туда к хорошим докторам, но мальчику не разрешали выезд из СССР. Не разрешали такового и самой Гуле, уже теперь сорокалетней специалистке по алжирской литературе, — хотя ее муж не раз предлагал взять на себя расходы по ее пребыванию за границей. Я хотела попросить Громыко и об этом — но мне не удалось попасть к нему. Гуля с возрастом еще больше стала похожа на моего брата Яшу, особенно глазами, ртом и манерами. «Ну, почему не дать ей поехать повидать родственников? Опять эти идиотские запреты», — думала я. Ничего не изменилось с тех пор, как я уехала… Гуля и Оля понравились Друг другу и как-то объяснялись наполовину по-французски, который Гуля прекрасно знала как переводчица, наполовину знаками. Здесь — как и среди всех Аллилуевых — Оля смогла почувствовать, что она — в кругу семьи. Оле было так занятно видеть всех этих родичей, близких ей по крови, но выросших в совершенно ином обществе.

Мой племянник Александр, старший сын Василия, за семнадцать лет, что я не видела его, проделал головокружительный взлет: я нашла этого когда-то тихого, боязливого мальчика теперь режиссером-постановщиком Театра Советской армии — и не могла поверить перемене к лучшему, произошедшей в нем! Всегда неуспевавший в школе, болезненный и хрупкий, живший последнее время с сильно пьющей матерью и начинавшей пить сестрой, Александр ничем не проявлял тогда своих талантов. Но за прошедшие годы он окончил Театральное училище и нашел себя.

Мы пошли смотреть его спектакли — очень изящную, романтическую «Даму с камелиями», и я все не могла поверить… Это ли Саша? Это ли наш Саша, выходящий из-за кулис и быстро раскланивающийся перед публикой после спектакля, всегда имевшего успех?

Дома Александр показал нам свою небольшую квартирку, чистую, убранную с огромным вкусом, но очень просто. Он совсем не пьет и чрезвычайно чистоплотен. Так хорошо говорит, много читает — нет, не может быть! Он похож на Василия, когда тот был совсем молодым и еще непьющим; нервное, впечатлительное «аллилуевское» лицо с мягкими карими глазами, как у них всех… Саша, Саша, какой ты стал! Спокойный, тихий, внимательный — ничего от его самолюбивого, агрессивного отца. Александр очень внимательно и тепло встретил Ольгу, и, хотя он не говорил по-английски, они сумели подружиться. Он водил нас в театры, на песни и пляски цыган в единственном в мире Государственном цыганском театре.

Мы встречались с Аллилуевыми, с Гулей и Александром и позже. Ольга получила хоть небольшое представление о своей обширной семье. От Кати, моей дочери и ее сестры, пока что ни слова, хотя мне сказали, что «ей было сообщено о нашем приезде». Она живет на Камчатке, изучает вулканы, работает на исследовательской станции Академии наук.

Однако ни сын, ни внук не желают зайти к нам в гостиницу. Я никак не могу понять этой перемены в сыне. Не он ли плакал в телефон, когда я жила в Англии? Спрашивал: «Неужели я тебя больше не увижу?!» Ну вот, я здесь. Так почему же ты не зайдешь ко мне поговорить, посидеть… Уму непостижимо. Он попросил денег, я дала ему, что имела. Потом он пожелал пойти в валютный магазин — я спросила: «Что тебе там нужно? Вы с Людой не похожи на нуждающихся. Хорошая квартира, зимняя дача с поварихой, все готовое. Я лучше дам денег Наде или Саше, они так обтрепались». Он рассердился и начал кричать в телефон. «Ну, я не для того сюда ехала, чтобы слушать твой крик», — сказала я.

Эта перемена в характере, в самой натуре — признак глубоко зашедшего алкоголизма. Я наблюдала это и в своем брате. Процесс саморазрушения захватывает дух и ум. Личность теряет свои качества, таланты, свою привлекательность. Потрясающий творческий взлет, происшедший с моим племянником Александром, и увиденный в сыне настолько же невероятный упадок всех лучших сил за то же время — меня совершенно потрясли. Поэтому, когда старые друзья говорили мне: «А ты совсем не изменилась!» — я считала, что и слава Богу! Хоть что-то должно остаться неизменным в этом круговращении.

Не застала я в живых Александра Александровича Вишневского и Люсю Каплера, Татьяну Тэсс и Фаину Раневскую. За то время, что мы были в СССР, скончались Федор Федорович Волькенштейн и Сергей Аполлинариевич Герасимов — два больших старых друга. Каким-то могильным духом веяло из Москвы, и у меня было такое чувство, что мы попали на кладбище.

Но на родное пепелище
Рыдать и плакать не приду;
Могил я милых не найду
На перепаханном кладбище.

Так написал Вячеслав Иванов, ни разу не пожелавший вновь посетить родину, которая представлялась ему так же неузнаваемо разрушенной, как «перепаханное кладбище». Какой жуткий

образ!.. У меня неотвязно вертелись в голове эти строки, пока мы были в Москве; а неузнаваемые улицы когда-то родного города были, как перепаханное, развороченное, выпотрошенное кладбище.

Зачем мы приехали сюда. Боже, Боже. Какое идиотство, какая опрометчивость, какие новые цепи я надеваю на себя опять — разве мы сможем так жить? Бедная, бедная моя Оля. Ведь ее запихнут не сегодня-завтра в эту показную школу, где завуч так похожа на тюремщицу. Она уже звонила и спрашивала, почему Оля не приходит. А разве мы договорились, чтобы она приходила туда?! Но здесь, в Москве, дела делаются не так, как вам это сказали, а так, как решили «наверху». Ты можешь и не знать, что там решили, а узнаешь только окольным путем. Я понимала, что нас «окружили», лишили самостоятельности, теперь заставят жить в этой роскошной квартире бывшего члена политбюро, а Оля будет ходить каждый день в эту школу рядом…

Я спрашивала совета у Гриши, но он-то полагал, что все прекрасно, что дела идут просто замечательно. «Не волнуйся, береги сердце! — говорил он, глотая маленькие таблетки валидола, успокоительного для нервов. — Хочешь валидольцу?» — как будто конфетку предлагает. «Давай! Все равно уж теперь». И я тоже кладу в рот прохладный мятный валидол. Надо что-то придумать. Куда-нибудь уехать из Москвы? Сослаться, например, на то, что, мол, «в Москве нас преследуют иностранные корреспонденты», — что было святой правдой. Даже гнались за нами в машине по Садовой, с телекамерой. Но куда? В Ленинграде — то же самое. Ленинград был горячо любимым городом мамы, и я любила когда-то уезжать туда и бродить по городу… Но там будет все то же самое.

И вдруг — среди ночного бдения возник образ страны, где я никогда не жила, но где родились, жили, женились, любили почти все мои предки… Еще в Греции, в Афинах, когда нас возили по городу, показывая достопримечательности, вдруг возник образ Грузии, — может быть, из-за схожести синего, теплого моря с таким же Черным. Может быть, из-за похожести лиц вокруг с темными глазами и черными кудрями. Может быть потому, что в той церкви Святого Георгия, на горе в Афинах, куда мы вошли, я увидела большой образ Георгия Победоносца, покровителя Грузии… Так вдруг неожиданно близка стала мне Греция тогда — я никогда раньше не думала о таком сходстве — но, конечно, безусловно, христианство, Византия, такие же точно каменные церкви, церковная музыка… Танцы, песни, южная кухня, южный темперамент…

Я не спала ночь, вдруг вспомнив, как привиделась мне тогда

в Афинах далекая и малознакомая Грузия. Может быть, не напрасно привиделась? Как сказал Пушкин:

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

6
«БЫТЬ МОЖЕТ, ЗА ХРЕБТОМ КАВКАЗА»…

… «Быть может, за хребтом Кавказа», — повторяла я всю ночь. А наутро готово было решение. В России, для русских бежать на Кавказ было, очевидно, традицией эскапизма, как сказали бы теперь. Но бежали туда, за хребет, не только прогрессивно мыслящие дворяне и офицеры девятнадцатого века. Бежали туда также из Европы, например, предки моей бабушки из Вюртемберга, или бедные русские крестьяне — из-под Воронежа, как наш дедушка Аллилуев. Почти со смехом подумав обо всех этих «предшественниках», я вдруг зрительно увидела, что для нас с Ольгой вполне естественно быть там — поскольку мы не в состоянии выдержать всего нажима Москвы.

Я схватила бумагу и настрочила письмо в правительство — а куда же еще? — умоляя, в самом деле умоляя, позволить нам уехать «в провинцию», так как «в Москве мы слишком на виду и будем вечно подвергаться атакам западной прессы». Этот пункт должен был вызвать к нам сочувствие — а также сыграть в нашу пользу. Затем я ссылалась на «исторические семейные связи с Кавказом», перечисляя всех Аллилуевых, — в Тбилиси даже улица Аллилуева имеется — в честь дедушкиных подвигов во время стачек начала века. Я обещала «полное понимание и сотрудничество с местными властями», что должно было означать, что я не буду эксплуатировать чувства грузин к моему отцу и не буду играть на этом. Еще бы! Зачем мне это нужно? Я обещала… все что угодно, только чтобы нас туда пустили, и чем скорее, тем лучше. Я понимала прекрасно, что вниманием, уделяемым нам западной прессой, правительство уже раздражено — ну вот, так я иду вам навстречу, хочу уехать из столицы.

Написав это, я заказала кофе и завтрак. Оля вскоре уселась за урок русского языка с учительницей, а я стала собираться с духом для новой битвы.

И точно: в полдень появились представители Совмина и наши опекуны из МИДа, торжественно несущие в руках папки с бумагами. Мы все уселись за стол — теперь уже мы были в небольшом обычном номере, так как я сочла нужным отказаться от двухкомнатного роскошного и бесплатного, в который нас поначалу поселили. Представители Совмина достали документы для оглашения постановления Совета Министров СССР,

касающегося меня и моей дочери. Момент был торжественный. Я слушала все молча.

Мне, очевидно, все прощалось — во всяком случае, прошедшие восемнадцать лет отсутствия не упоминались так, как будто их вообще не было. Меня приняли как библейского блудного сына. Нам предоставляли ту громадную квартиру в доме членов политбюро, рядом со школой; машину с шофером; восстановлена была моя пенсия, данная мне по смерти отца. Декрет также выражал надежду, что вскоре я окажусь вновь «в коллективе» и что Ольга Вильямовна Питерс вскоре почувствует себя совсем дома. Образование в СССР, конечно, бесплатное — вы платите своей жизнью, но не деньгами.

Я сидела и ждала конца. Потом попросила прощения — поблагодарила за все (благодарность должна быть передана правительству) и попросила разрешения прочесть им теперь письмо, которое я только что написала в результате всех событий со дня нашего приезда.

Я читаю очень вежливое, дипломатичное письмо, наполовину составленное из благодарностей, но, читая, я замечаю, как вытягиваются их лица, как они остолбеневают, а когда я кончила читать, — молчат… «Я думаю, что это решение удовлетворит всех и будет всем на пользу», — повторяю я. Они молчат, не веря своим ушам. Потом я слышу: «Хорошо, мы доведем ваше письмо до сведения правительства».

Я не ем весь остаток дня, молюсь и молюсь, «держу кулаки», даже не разговариваю с Ольгой — и молю Господа, чтобы помог…

Он помогает.

Через несколько дней я получаю приглашение зайти в Представительство Грузии, крошечную миссию, одну из тех, которыми располагает в Москве каждая республика. Сразу же бросается в глаза хороший вкус, свободные веселые манеры служащих, обилие свежих фруктов на столе главы миссии, элегантного человека средних лет. Он заметно нервничает и разглядывает меня с любопытством. Он сообщает мне что нам с дочерью разрешено жить в Грузии, — и затем он широко улыбается. После того как формальная часть закончилась, он пододвигает мне фрукты, предлагает вина (я отказываюсь) и говорит уже совсем нормальным тоном: «Это очень приятный сюрприз для нас».

«А также и для нас!» — отвечаю я ему в тон. И это — святая правда.

* * *

Мы летим в Грузию, в Тбилиси, 1 декабря 1984 года. С нами летит приятный молодой человек в очках и дубленке — представитель грузинской миссии в Москве. Очень холодная погода, а я уверяла Ольгу, что Грузия — как Калифорния, то есть совсем без зимы!.. В наших английских демисезонках будет холодно. Молодой человек немного говорит по-английски, и Ольга оживает. Он подсовывает ей мандарины. Она говорит, что все что угодно будет лучше, чем Москва. Я согласна с нею. Этот месяц, что мы провели в Москве, был сплошным кошмаром. «Жили ли вы когда-либо в Грузин?» — спрашивает молодой человек. «Нет! — признаюсь я. — Но вся моя семья — жила».

Мы смотрим вниз, под крыло, на прекрасный, занесенный снегами, сверкающий алмазами Большой Кавказский хребет. Я никогда не видела его таким, и Ольга тоже захвачена величественным зрелищем. Граница Европы и Азии. Мы — в Азии теперь. Снега сверкают на солнце, а вверху небо интенсивнейшей голубизны. Все пассажиры смотрят вниз, хотя они-то видели это все множество раз. Ольга ест мандарин, она заметно повеселела. Господи — Ты спас нас опять. Господи, Господи, как это оказалось возможным? Я не могу поверить, что мы ушли от опасности, грозившей поглотить нас. В национальных республиках совершенно иная жизнь — теоретически я это хорошо знаю. Независимая, насколько это возможно, от Москвы. Своя собственная, колоритная, теплая. Все будет хорошо. Господи, как нам это удалось?!

В аэропорту Тбилиси, небольшом и еще незаснеженном, с голыми деревьями вокруг, нас встречают несколько женщин в хороших меховых пальто. Разница во внешности сразу же бросается в глаза — грузины любят хорошо одеваться, это для них исключительно важно. Другая, молоденькая переводчица — блондинка — берет за руки Ольгу, и у них возникает мгновенное взаимопонимание, которое впоследствии превратится в настоящую дружбу. Я могу успокоиться на некоторое время: так как я уже вижу, что Ольга довольна своей новой знакомой. Все встречающие дамы сверкают улыбками, Я знаю только одну из них еще по школе; когда-то мы были одноклассницами.

Здесь все проще, веселее, естественнее. И хотя мне понятно, что эти дамы здесь тоже представляют собою партию и правительство — они куда лучше и приятнее это делают. И теплее. Мы грузимся в машины и едем — куда повезут…

* * *

И вот для нас началась здесь совершенно иная жизнь по сравнению с Москвой. В первые же дни — когда нас поместили в загородной резиденции для гостей — появились Олины сверстницы, племянницы одной из дам, встречавших нас. Они щебетали по-английски, сели вместе за рояль, пели песни и очень быстро подружились с американской девочкой — предметом их острого любопытства.

Министр образования Грузии не требовал, чтобы Оля тут же уселась за парту. Вместо этого он взял ее в школу верховой езды, которую он создал и опекал, и посадил ее там на самую лучшую лошадь. А так как Оля была хорошей наездницей, то она быстро завоевала сердца окружающих. Ей дали постоянного тренера, и она стала ходить в манеж регулярно. К ней вернулась уверенность в себе.

Дома к урокам русского языка (которые здесь вела очень сильный педагог-грузинка) прибавились уроки грузинское языка с молодой, миловидной женщиной. Хотя меня уверяли что иностранке невозможно сразу приняться за два новых языка, я хотела попробовать, — так как свободного времени было слишком много. Результаты у нас были блестящими — через полгода Оля уже могла слегка объясняться и на русском, и на грузинском языках. Через год она могла вести разговор! Надо сказать, что личности учителей и их отношение к Оде имели большое значение: Оля чувствовала горячую симпатию и отвечала тем же. На этом основывался успех.

Она занималась также дома математикой с педагогом, знавшим английский. Ходила в кружок акварели — где преподавала хорошая художница, полугрузинка, полукитаянка. Ее дед приехал сюда из Китая в прошлом веке, чтобы начать чайное дело возле Батуми. Чай все еще производится там, но его качество сильно понизилось, по всеобщему признанию.

Потом у Оли появился большой друг — музыкальный директор местного театра, занимавшаяся с нею музыкой и пением. Очень скоро Оля выучила с помощью Лейлы популярные грузинские песни и научилась аккомпанировать себе на пианино. Теперь она была незаменима в компании — здесь все пели и играли на гитаре или на пианино. Жизнь девочки преобразилась. Она расцвела, похорошела, стала одеваться так, как одеваются здесь (свитер и юбка, но не брюки), и ее вечно приглашали на вечеринки, свадьбы, обеды, где были незаменимы песни и веселье. Ей нравилось неожиданно отвечать по-грузински, когда молодежь подходила к ней с английскими фразами: это всегда вызывало удивление, восторг и поцелуи.

Ее сверстники здесь были в нескрываемом восхищении от

Америки, и Оля была для них источником искреннего любопытства и симпатии: девочка, родившаяся в Калифорнии! Американка! Она выслушивала их дифирамбы и их наивные восторги и расспросы и часто открывала им глаза на действительную Америку, которую они представляли себе как один нескончаемый Нью-Йорк, с небоскребами и роскошными автомобилями.

Декабрь мы провели в загородной резиденции, но к Новому году, по моей просьбе, нам дали квартиру в городе, и жизнь постепенно стала более нормальной. Конечно, — как и Москве, — в доме, где живут партийные работники, которым надлежит следить за каждым нашим шагом, но здесь все проще, домашнее. Наша квартира с двумя спальнями и столовой выглядит просто и чисто; мы купили мебель в местных магазинах, украсили комнаты изделиями грузинского народного искусства, домотканными коврами — и Оля рада, что у нее, наконец, имеется своя комната, где она может налепить на стены все, что пожелает, — как это везде делают подростки на Западе.

Нам усиленно предлагают прислугу, потом — гувернантку для Оли, но я знаю, что это — еще один вид надзора, и я отказываюсь. Хватит с нас шофера! Он дружественный веселый парень, но безумно любопытный. Однако без него мы потеряемся в этом незнакомом городе: отказаться от машины в этих условиях невозможно. А купить свою машину и водить ее здесь мне не разрешают — «из предосторожности». Мы постепенно привыкаем пользоваться местными троллейбусами, автобусами и метро. Это позволяет нам посещать, кого мы хотим, без надзора. Оля уже знает, как добираться троллейбусом к своим учительницам и друзьям.

Она не перестает удивляться условиям их жизни — немытые лестницы, грязные подъезды многоквартирных домов, маленькие комнаты, отсутствие красоты в интерьерах — потому что нет места, потому что все скучены. То не идет вода, то не работает телефон — два бича Тбилиси. Она начинает понимать разницу в социальном положении различных семейств, которые мы посещаем. Здесь это не деньги, не богатство, не собственность — нечто иное; и по всем признакам мы помещены на этой социальной лестнице где-то наверху. Ей еще многое предстоит открыть в этом столь новом для нее обществе. Мне все это не ново.

Но меня поражают перемены в молодых. Все девочки и мальчики, которых так притягивает к себе Ольга, молодые учительницы, ее тренер верховой езды — все они, даже наш шофер, донимают ее расспросами об Америке: им так хочется

знать об окружающем мире, закрытом от них.

Только год тому назад маленькую республику потрясла трагедия, еще не закончившаяся. Несколько молодых студентов решили угнать пассажирский самолет через границу в Турцию. Была перестрелка, были жертвы. Попытка не удалась, их вернули, арестовали, приговорили кого к пожизненному заключению, кого к смерти. Они не отрицали в суде, что хотели бежать за границу. Мы ощущали громадную моральную поддержку, которую оказывала им молодежь: они стали национальными героями. И не только молодежи: старшее поколение собирало подписи под петицией правительству — отменить смертные казни приговоренным. А Оля была оттуда — и перед нею они не стеснялись говорить, что «я тоже хочу уехать, бежать!»

Она чувствовала, что доверие и любовь к ней шли из двух источников: одни видели в ней «внучку». Другие — представителя свободного мира. Эти конфликты открыли ей глаза, она необыкновенно повзрослела всего лишь за полтора года нашего «визита». Она — училась на практике. Я же, проваливаясь в темные, глубокие воды прошлого, чувствовала, что нам обеим не справиться с этим. Даже здесь — в Грузии, где было больше искренности, больше храбрости, больше страсти в сердцах, — я понимала, что, скорее, Ольга найдет себе место среди молодых. Но — не я.

И поэтому, радуясь ее счастливому веселью, я понимала, что это все — временное. Мы были как бы подвешены в воздухе и озирали оттуда всю жизнь внизу. Но мы не жили этой жизнью. Странное чувство нереальности не покидало меня ни в театре, где мы смотрели прекрасного Брехта, ни в концерте, где современный оркестр и певцы так прелестно сплетала традиционные мелодии с новыми веяниями Запада, ни дома, где у нас уже образовался теперь тихий уголок домашности за вечерним телевизором — вечерний мир, который дочь и я всегда находили и оберегали, куда бы ни бросала нас судьба. Все было нереально, даже если и приятно…

7
ОТ ПОЭЗИИ К РЕАЛЬНОСТИ

Сразу же после революции 1917 года Грузия обрела независимость от большевистского Петрограда и от России — о чем она мечтала вот уже двести лет… Присоединение к царской России в конце восемнадцатого века, о котором просил грузинский царь-христианин, было хитро использовано Петербургом. С независимостью маленькой страны было быстро покончено, как и с династией грузинских царей, и Грузинское королевство вошло в состав Российской империи как провинция. Этот обман и оскорбление, нанесенные христианской Россией стране, жаждавшей под ее крылом спастись от ислама, никогда не были забыты. Поэтому память о независимой Грузии здесь жива до сих пор.

Социал-демократическая партия меньшевиков противостояла здесь партии Ленина несколько лет, но в беспощадном кровопролитии (также не забытом здесь) Грузия была вновь присоединена к большевистской России. Но мечта о независимости будущей Грузии никогда здесь не умирала, только крепла…

История не уникальная, а скорее, типичная почти для всех национальных окраин России. Чувства по отношению к Москве, испытываемые сегодня украинцами, эстонцами, литовцами, армянами, узбеками, таджиками, немногим более отличны от чувств грузинов. Все это я, конечно, знала из книг. Но теперь — мы жили здесь, и эти чувства стали нашими: тут не было никаких сомнений! Мы были, конечно, с Грузией против тех, там, «на севере», как здесь говорят. И комический характер северного обитателя, «чукчи», популярного здесь в анекдотах, всегда несет подтекст негативного отношения к «северянам».

Однако север — правит, посылает указы и руководит. Так же и в нашем случае. Принятая из вежливости местным в то время главой партии Эдуардом Шеварднадзе, я сразу же поняла, что он будет во всем следовать Москве. Москва разрешала нам быть здесь — и Шеварднадзе не протестовал. Отменят разрешение — он, безусловно, не предоставит нам своего гостеприимства. Поэтому нам давали понять, что следует прежде всего не противоречить желаниям Москвы. То же делал во всех отношениях и сам Шеварднадзе. Ничего такого, конечно, мне не было сказано. Но я хорошо знаю эту среду, и весь подтекст в речах партийных работников. Он напомнил мне, что следует

«скорее войти в коллектив и начать делать переводы». Это было то, чего от меня желали в Москве.

Однако я попробовала предложить другое и прямо сказала, что, поскольку я по образованию историк, мне бы очень хотелось всерьез заняться историей Грузии, в особенности ее ранними веками христианства, а также средними веками золотого расцвета культуры… Шеварднадзе вскинул на меня до сих пор безразличный взгляд, некоторое время смотрел на меня молча, потом твердо произнес: «Не надо вам этого!»

Смысл его слов заключался в том, что я проявляла опасное желание изучать грузинскую культуру — то есть горячий, обжигающий источник всех ее стремлений к независимости, в котором, между прочим, христианство и церковь играли большую, если не ведущую роль. Я дотронулась до кровоточащей раны — бестактно, глупо, даже дерзко. Но я сделала вид, что ничего этого я не поняла, и он снова опустил глаза, притворяясь, что ничего такого не было сказано и не было понято. А где лежало его сердце, с кем был этот человек в сердце своем — этого нам не полагалось знать. Такие вещи здесь скрываются, как самая жгучая тайна, даже от своих. Я поблагодарила за прием, поблагодарила за практическую помощь и ушла. Начать «делать переводы» я, однако, не пообещала, отговорившись тем, что должна находиться дома, пока моя дочь дома. Коллектив и его надзор меня никак не привлекали.

По прошествии года, когда Ольга уже прилично говорила по-русски и понимала по-грузински, наш покровитель министр образования был снят с работы и на нас начали давить с уже знакомой идеей: чтобы Ольга уселась в класс русской школы как можно скорее. «Пора делать из нее советскую школьницу», — передала нам наша миловидная соседка, работник ЦК. Мы уже знали, что это означает! И так как новый министр образования была человеком, несведущим в вопросах образования, бывшим комсомольским организатором, мы к ней даже не отправились за советом. И последние наши месяцы в Грузии Ольга сидела в классе грузинской школы, где ей было бесконечно трудно следить за происходящим, как было бы, несомненно, и в любой русской школе.[8]

Первоначальная идея подготовки Ольги к выпускным экзаменам дома, предложенная бывшим министром была окончательно отвергнута наверху.

* * *

Мы встречались с художниками и скульпторами, музыкантами и актерами театра и кино, с театроведами и кинокритиками. Грузия — глубоко артистичная страна. Выставки, фильмы, спектакли и концерты являли необычайно высокий уровень мастерства, красоту традиций, смелость новых поисков. Искусством здесь живут и дышат. Это — воздух, это не что-то прикладное. Оля, хорошо певшая, игравшая, легко танцующая, способная к живописи, была здесь как рыба в воде. Она ходила на выставки, мы смотрели новые фильмы.

Даже балет «Лебединое озеро» здесь превращался в праздник национального торжества — потому, что молодую грузинскую балерину только что отметили в этой роли в Большом Москве. Теперь она давала гастроль на родине и публика неистовствовала. Те немногие слова, что Оля выучила и могла сказать в грузинской компании, открывали ей повсюду сердца и двери. Я совсем не говорю по-грузински, и это был громадный минус: я олицетворяла в их глазах «чуждое влияние». Поскольку более половины моих предков были грузины, я должна была бы знать «свой язык» во что бы то ни стало. Но нас не учили грузинскому в детстве, это не было принято.

На меня и без этого смотрели достаточно косо. Обожатели моего отца полагали, что я не уделяла достаточного внимания им и памяти Сталина. Я с большим трудом отговаривалась от различных публичных появлений и посещений, таких, например, как празднование 40-летия победы в Тбилиси и в Гори где нас с Олей специально просили присутствовать. Мы не пошли, чтобы не стать центром всеобщего внимания.

С другой стороны, Грузия и Тбилиси полны потомков жертв чисток 30-х голов: Берия начал здесь намного раньше, еще до своего появления в Москве. Целое поколение партийных работников, технической интеллигенции, артистов, поэтов было стерто с лица земли. (Грузин вообще меньше трех миллионов на земле.) Теперь же, я знала, мы видели глаза тех, кто унаследовал их имена и их искусство. Здесь все еще жила и практиковалась кровная месть, как в Сицилии — вендетта. Мы знали, что здесь это факт, а не «паранойя», как сказали бы американцы. Особенно заметны были эти горящие ненавистью глаза в церкви, и мы узнали позже, что многие приходили к католикосу с требованием, чтобы он «не допускал» нас к службе. Ему приходилось успокаивать негодовавших, напоминая им, что церковь — не место для мщения и ненависти. К нам же он проявил большую терпимость и симпатию. Но об этом — дальше.

Я, конечно, должна была познакомить свою дочь с детством ее деда — и мы отправились в Гори смотреть музей. Крошечная

лачуга, не более курятника, где вся семья ютилась в одной комнатушке, произвела неизгладимое впечатление на маленькую американку. «А где они готовили?» — спросила она. Я переводила. «Летом — на улице, — ответила экскурсовод, — а зимой — тут в комнате, на керосинке». Здесь жили мальчик, его отец-пьяница и мать, зарабатывавшая стиркой белья на соседей. Мать отдала мальчика в приходскую школу, где он изучал три языка: русский, грузинский, греческий: они показали парту, за которой он сидел. Потом он был в семинарии, чтобы стать священником: мы видели здание семинарии в Тбилиси. Он стал революционером, ушел из семинарии, уехал из Грузии, Долгие годы, десятилетия не видел свою родину и свою мать, растившую его на гроши. Потом — когда он стал главой государства там, на севере, его матери дали одну из комнат бывшего губернаторского дворца в Тбилиси. Там старуха и умерла, огражденная «славой» и надзором КГБ от всего, что было ей привычно, но все так же неуклонно посещая церковь.

Ольга знала, что совместно с Черчиллем и Рузвельтом ее дед выиграл войну против нацизма: у нее была фотография «Большой тройки». Но только теперь, здесь, в этой маленькой лачужке, над которой возвышались холм в крепость, а дальше белели снеговые вершины, она могла увидеть его жизнь.

Музей Сталина, в который мы, как и все Аллилуевы, отдали большое количество семейных фотографии, всегда полон народа. Автобусы привозят сюда туристов со всего мира. Интерес к человеку, родившемуся здесь, в этом курятнике, и ставшему главой мирового коммунистического империализма, — не подделка. Мы буквально не раскрывали рта, мы не хотели участвовать в спорах и высказываниях «мнений». Мы прекрасно знали — и уже могли повсюду видеть, — что жизнь пойдет вперед (а не назад) и что, возможно, здесь нам не будет в ней места. Но Оля должна была однажды увидеть эти края своими глазами и запомнить их на всю жизнь. Тем более, что трудно найти местность подобной красоты — с цветущими садами по обе стороны шоссе, со снеговым горным хребтом вдали, с голубым прозрачным воздухом. Мы знали, что здесь, в этих горах, садах, виноградниках, омываемые этой мелкой бурлящей рекой, лежали глубоко-глубоко и наши корни. Отрицать это было бы ложью и глупостью. Наоборот, каждый день, что мы пробыли в Грузии, мы только сильнее и сильнее ощущали, как близка была нам эта любимая земля.

* * *

В июне 1985 года, спустя восемь месяцев после нашего приезда в СССР наконец пришло письмо от моей старшей дочери Катерины. Я хотела повидать ее во время ее кратковременных остановок в Москве, у ее бабушки, но она не сообщала мне о своих приездах. Письмо пришло уже позже посланное с Камчатки, из города Ключи, где она жила и работала на Станции Академии наук, расположенной в районе сопок, вулканов и гейзеров.

Когда мы были еще в Москве, неожиданно в газетах появилась большая заметка, озаглавленная «Окнами на вулкан». Там описывалась жизнь на некоей вулканостанции, а также говорилось о молодом научном работнике Катерине Юрьевне Ждановой, жившей здесь с трехлетней девочкой и неизменно бравшей Анюту с собою «в поле». Хотя никаких других обстоятельств личного порядка в статье не приводилось, публика поняла, что это — моя старшая дочь. Не знаю, какие выводы должны были мы все сделать из этой статьи, но вот, наконец, пришла весточка… С необычайным волнением открывала я стандартный советский конвертик, содержавший один листок бумаги.

На нем хорошо знакомым мне еще детским почерком совершенно чужая мне взрослая женщина писала с неслыханной злобой, что она «не прощает», никогда «не простит» и «не желает прощать». Затем в словах, достойных передовицы в «Правде», я обвинялась во всех смертных грехах перед родным государством. И дальше моя дочь — поскольку это была все-таки она — требовала, чтобы мы «не пытались устанавливать контакты», что она не желает, чтобы мы вмешивались в ее «созидательную жизнь», и где-то уже в конце все-таки одна строчка гласила по-человечески: «Желаю Ольге терпения и упорства». Мне вообще не было никаких пожеланий. А в самом конце — что заставило меня рассмеяться — было поставлено латинское dixit — это значит «судья сказал», произнес приговор!

Мне стало смешно — и это скрасило кое-как во всех отношениях ужасающее письмо. Но я долго сидела с ним в руке. Именно Катерина почему-то всегда виделась мне как любящая дочь — то есть такая, какой она всегда и была. Она, очевидно, очень, очень сердита (наговорили ей там что-то наверняка), нервна. Муж ее недавно умер от несчастного случая. Молодая вдова с маленьким ребенком. Упрямая, самостоятельная, хороший работник в трудных условиях — и вдруг, пожалуйте, мамаша пожаловала из Америки и сестрица-американка, конечно, — миллионерши, бездельницы, купаются в шоколаде… (Так им тут всем говорили о нас!) Теперь-то что им надо? У меня своя жизнь, пусть не мешают. Ни слова о греческом платье для

Анюты — я послала его к бабушке, где, как я узнала позже, оно и было получено адресатом. Ни слова. Проваливайте своей дорогой — у меня своя.

Я написала не одно письмо ей на Камчатку, на ее вулканостанцию, — очень хорошие, любящие письма. Потому что я бесконечно всегда любила и сейчас люблю свою строптивую дочь, обеих своих строптивых дочерей. Но больше не было ни слова ответа.

Я понимала умом, что с моими детьми здесь «поработала» пропаганда, что им вот уже много лет вбивали в голову скверные истории про меня. Но сердце требовало, чтобы вся эта работа оказалась бы безуспешной, чтобы они вдруг все повяли, и бросились бы к нам с Ольгой на шею… То, что этого не произошло ни с сыном, ни с дочерью, повергло меня в какой-то хаос.

Я перестала понимать самые основы человеческой души. В особенности же потому, что у меня были очень хорошие старшие дети; мы жили без конфликтов, присущих многим семьям, и именно от них невозможно было принять подобную перемену. И, сама не знаю почему, я так верила что уж мои-то сын и дочь поймут все мои действия, мой самый побег и всю мою жизнь, последовавшую за побегом, куда лучше, чем кто-либо посторонний. До сих пор я не могу понять, почему именно они-то и оказались самыми успешными жертва всей клеветы и пропаганды. Почему именно у них ничего не осталось в сердце от многих лет нашего несравненного семейного счастья и взаимного понимания — которыми я так всегда гордилась и во все последовавшие годы.

* * *

В декабре 1985 года неожиданно в Тбилиси появился известный московский актер-комик, с которым мы были знакомы многие годы тому назад. Это было, как далекое эхо тех времен, когда вокруг было столько друзей, — вместе ходили в Дом кино, на концерты международной значимости вместе читали книги и посещали Театр кукл Образцова. Теперь ему было уже за семьдесят, маленький человек чаплинского характера и печального юмора, обожаемый публикой за его быстрое остроумие и неожиданные шутки. Видеть его теперь, здесь, был праздник, привилегия — пир! Неожиданно встретившись, мы вдруг пустились наперебой декламировать стихи Пастернака. «Мы были в Грузии. Помножим»… — начала я, и он подхватил:

Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем
И мы получим этот край.

— Как там дальше? Ага, вот:

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Любовь и жизнь, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

— Постойте, постойте. Дальше еще лучше:

Чтоб, поднявшись среди бескормиц
И поражений, и неволь
Он вырос та-та-та, оформясь
Во что-то прочное, как соль!

Это было восхитительно. На нас уже оборачивались, потому что мы были, как пьяные, бормоча и поднимая вверх указательные пальцы.

«Хотите валидолу?» — спросил он точно так же, как Гриша в Москве. Сердца здесь у всех надорванные, нечего удивляться. «Спасибо». Не повредит и мне. Как это был вдруг неожиданно хорошо! Далекие чудесные дни вернули обратно — дни с теми, кого уже нет в живых. А мы все скрипим.

Удалось уехать из города, уединиться и гулять по берегу холодного, но все равно прекрасного Черного моря. И говорить, говорить без конца. Он больше слушал меня — за столько лет! И если говорил, то ничего не предлагал, не утверждал, не осуждал. Он хотел меня понять. Но я чувствовала по подтексту, что он был не далек от мнения Федора Федоровича Волькенштейна, так отругавшего меня в Москве. Не далек от мнения и других лиц, авторитетных для меня, считавших, что я сделала большую ошибку, вернувшись в Советский Союз и дав пищу для пропаганды, для лжи, для моего собственного разрушения.

Он понимал из моих рассказов, что мы совсем не так «счастливы», как это, возможно, он слышал, и что мы вряд ли выдержим перевоспитание и переприспособление к советскому образу жизни. Все образование Ольги было под ударом, и это понимали мои настоящие друзья.

Актер, оказывается, лично знал того директора школы в

Москве, который так устрашился принять Ольгу. «Несомненно, родители его учеников могли выразить ему неудовольствие, — сказал он. — Это школа рядом с университетом, и все преподаватели посылают туда своих детей. Ты понимаешь? Это лучшая школа в Москве! Директор учился в университете вместе с тобой, он тебя помнит студенткой. Он женат на итальянке, что делает его жизнь нелегкой, учитывая все наши „традиции“. Он не хотел тебя огорчать, а еще больше — девочку. Но не будет хорошо. Нигде». Наконец он высказался со всей прямотой. Я это уже поняла сама. Это все — имя моего отца. На Западе оно создает вокруг нас постоянное любопытство. Но здесь — общество разбито на два лагеря: и мы как раз посередине, даже моя четырнадцатилетняя калифорнийка. От этого нам никуда не уйти — каковы бы ни были мои собственные взгляды на этот вопрос. Сможем ли мы жить здесь с этим конфликтом ежедневно, ежегодно, всю жизнь?

Сможем ли — моя дочь и я — встречаться с глазами молодых художников — внуков тех, уничтоженных в лагерях — встречаться с их горящими глазами и притворяться, что мы «ничего не понимаем»? Я никогда не притворялась. И в 1956 году, когда Хрущев произнес свою знаменитую речь, приняла ее как должное и необходимое для всей страны.

8
ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Потрясение от отношения к нам моих сына и дочери содействовало ощущению необходимости поговорить с кем-то независимым от здешнего образа жизни и партийной монотонности. Когда мне сказали, что католикос Грузии, которого мы уже видели служившим прекрасную литургию в соборе Сиони, очень внимательно относится к духовным нуждам всех обращающихся к нему, я написала ему письмо с просьбой о приеме. Ответ пришел незамедлительно, я пошла на аудиенцию, и с того дня он принимал меня много раз.

Католикос был человеком лет пятидесяти, небольшого роста, с живыми черными глазами и мягкими манерами. Он происходил из крестьян высокогорной деревни Казбеги. Отец отдал его в монастырь восемнадцатилетним юношей, и черным монахом он и оставался всю жизнь, впоследствии окончив Духовную академию в Загорске. Его русский язык был настолько безупречен (грузины очень редко говорят без акцента), что ему предлагали не раз оставаться служить «на севере», намекая, что карьера его двигалась бы там быстрее. Но он хотел служить Грузии.

Здесь он считал своей миссией восстановление забытой древней литургии, чтобы привлечь людей в церковь. Мы видели, как тянулись и старики и молодежь на эти многочасовые стояния, когда прекрасное хоровое пение, пришедшее сюда в пятом веке из Греции, и расшитые золотом одежды епископов и дьяконов превращали литургию в незабываемое, глубоко проникающее в душу переживание.

Я впервые услышала звуки грузинской службы в древнем соборе Мцхета, где мы остановились с Олей вскоре после приезда. Наш шофер тоже зашел вместе с нами и стал вдруг серьезным, совершенно изменилось его лицо… Народу было мало, священник читал скороговоркой, было очень холодно, молодой дьякон ежился. Вдруг я узнала слова «Господи, помилуй» на грузинском языке — «Упало, Шегвицкален» — как мне их очень давно говорила моя бабушка Ольга Евгеньевна… Я не поверила своим ушам, так как это было единственным, что я знала из церковных слов по-грузински. Но вот здесь, в холодном громадном соборе, где смотрела на нас своими широко открытыми византийскими глазами Богородица, слова эти вдруг зазвучали у меня где-то внутри, в костях, в крови. Древняя, сильная вера предков настигла меня — и заявила о своей

вечности.

Позже, в соборе Сиони, где происходило великолепное празднество в огнях бесчисленных свечей, в облаках ладана, в изумительном гармоничном пении я совсем отрывалась от земли и забывала обо всем. Только здесь я могла найти силы, только здесь была поддержка, только здесь еще существовали гармония и порядок мироздания.

«Они и не знают, как им нужна церковь! — говорил католикос. — Они все забыли, думают, что это скучно. Вот мы и даем им все это великолепие! Мы воскресили древнейшие обряды, красивейшие, полные смысла. Видите, как они бегут сюда, и молодые тоже!»

Патриаршая служба с торжественным входом патриарха в церковь, с обрядом облачения, потом входом в Златые врата алтаря — все это вместе с необыкновенно мажорными, радостными песнопениями создавало настроение уверенности, какой-то торжествующей радости, я бы сказала, даже непобедимости. Мы вставали много раз на колени, поднимались и часами стояли на каменном полу, вдруг охваченные слезами восторга, забытого неземного счастья. Да, церковь сильна там, где страдают, а не там, где утопают в комфорте. И вера здесь была сильнее, чем все, что я уже видела на прибранном, упорядоченном, технически оснащенном Западе. Католикос часами стоял на подмостках, как царь среди всего великолепия, и лицо его светилось. Он молился часто в слезах, держа в одной руке зажженную свечу, а в другой свой патриарший посох-жезл. В церкви можно было увидеть известных артистов, режиссеров театра и кино, художников, ученых.

Старые церкви шестого, седьмого веков повсюду восстанавливались усилиями патриарха, где-то далеко в горах были мужские и женские монастыри и семинария. У грузинской церкви за плечами пятнадцать веков независимости, традиций и необычайного авторитета, которым она пользуется в народе. Даже крупные партийные работники не могут воспротивиться желанию бабушек и родителей крестить детей и закрывают глаза на это — совсем не так, как в Москве. Здесь же родной язык, молитва, церковная архитектура, иконопись, фрески — все это самобытность культуры, самость, которую никому нельзя отдать в рабство. А для нас с Олей служба и литургия были забвением и отдохновением.

В своем кабинете католикос, одетый в черную рясу, выглядел очень скромно и застенчиво. Длинные его черные с сильной проседью волосы были собраны сзади на затылке. В нем был душевный мир, и он так хотел передать его всем другим. Но он

хорошо понимал, как далека я была сейчас от душевного мира.

«Люди здесь забыли, что такое любовь. Они думают, что любовь официально упразднена вместе с церковными праздниками — Рождеством, Пасхой. Мы должны снова учить их любви. Вы должны учить их любви! — говорил он, наставляя на меня свой указательный палец. — Вы должны писать своим детям только слова любви — они ведь забыли о ней совершенно! Не ругайте их никогда, не спорьте, только говорите, как любите их. Любовь — победит.

Я бьюсь с моими прихожанами ежедневно. Они ненавидят друг друга, грозятся убить противника и — убивают, действительно! Я говорю им, что даже мыслей о мщении нельзя иметь! Но это — традиция здесь. И меня мои старые враги и соперники грозятся убить — мы живем среди всей этой ненависти, проникающей нам в плоть и кровь. Но не бойтесь! Всегда приходите в церковь. Другие говорят мне, как это прекрасно, что вы и ваша дочь здесь на литургии».

Он нередко приглашал нас с Ольгой вечером, после службы, ужинать, за стол, где он сидел, краем глаза смотря в телевизор — его единственное окно в светский и безбожный мир. На столе была вкуснейшая, но постная пища. Кроме нас, здесь часто были и другие гости. Он покровительствовал художникам, расчищавшим старые фрески, восстанавливавшим старые монастыри. Он пригрел нас возле своего любящего сердца, старался внушить мне надежду на восстановление отношений с детьми. А когда Оля научилась болтать по-грузински, его восторгу не было конца.

Мы знали, что он путешествует за границу, в особенности на Ближний Восток, где встречается с патриархами других Восточно-православных церквей. «Боремся за мир! — говорил он, усмехаясь, об этих поездках. — А в Афганистане никак не можем войну закончить».

Афганистан был большой темой здесь, так как туда посылали главным образом молодых грузин и армян — под предлогом их «хорошего знания горных условий». Посылать туда солдат из среднеазиатских республик считалось опасным, так как они могли перейти на сторону повстанцев-мусульман. Молодые солдаты погибали в Афганистане или возвращались изувеченными, и здесь говорили: «Почему Москва не посылает своих, русских?» Это только прибавляло ненависти к «северу».

История Грузии полна кровопролитной борьбы с ее мусульманскими соседями — турками, иранцами. Раньше набегали Тамерлан и арабы, уничтожали все живое, но Грузия возрождалась, как феникс из пепла. Вера и церковь всегда были

ее опорой. Памятники былой доблести стояли на каждом шагу. Памятник победе 1945 года — это действительно монументальная, впечатляющая композиция, охватывающая целый склон горы, с фигурой крылатой Победы наверху, каскадом фонтанов, сбегающим от нее вниз, и фигурой мальчика с виноградной лозой в руках — символизирующей вечное возрождение Жизни. Фантазия, красота, выдумка, страстность отмечают здешних художников. Эти каскады воды на склоне горы и мальчика с лозой невозможно забыть. А в центре могила Неизвестного солдата. Грузия отдала победе громадное количество жизней, и воевать сейчас в Афганистане — для нее полнейшая бессмыслица.

Воевать, однако, Грузии бесконечно приходилось в силу различных причин во все века. Когда мы проезжали через перевалы Кавказского хребта на машине, ездили смотреть далекие монастыри и церкви, перед нами расстилался пейзаж вековой неизменяемости и великой красоты. Вот среди этих гор, в этих лощинах по направлению к Манглиси, бились полчища врагов с грузинами: закройте глаза, и вы услышите храп коней, лязг мечей, вопли и стоны. Закройте глаза — и перед вашим взором потекут потоки крови, покатятся отрубленные головы, разрубленные мечами лошади. То, что Карл Густав Юнг называл «коллективным подсознательным», вставало здесь с неслыханной живостью передо мною, и я вдруг поняла, как никогда, этот страстный, жестокий, нежный, артистичный народ, в чьей памяти смерть соединена с храбростью и борьбой, а любовь — с местью, народ, для которого борьба, война всегда соединены были с защитой своей независимости — самой реальной защитой. А потому они для него священны.

«Нет людей более жестоких и в то же время более нежных, чем грузины, — сказала мне одна москвичка, давно уже живущая в Тбилиси. — Они могут быть такими даже одновременно! Я долго не могла привыкнуть к этой полярности, противоречивости. А потом, кажется, и сама стала такой же». Об этой противоречивости говорит и Пастернак в своих знаменитых «Волнах». Уж кому лучше знать, как не ему, покровителю и учителю стольких грузинских поэтов! Впечатлительность, музыкальность, какой-то сверхутонченный артистизм соединяются в этой культуре с кровной местью, с неимоверной жестокостью к тому, кто обозначен как «враг». Оперы, балеты, предания, фильмы — все это о смерти и борьбе. Мать замуровывает своего сына живым в стену крепости («Сурамская крепость»), чтобы крепость служила опорой от врага! И церковь — всегда освящает и благословляет самую жестокую борьбу.

Древние камни, древний язык, древняя литургия — за пять веков до принятия христианства Киевской Русью здесь уже был расцвет культуры. Разве они могут забыть это сегодня? Поэтому и самое христианство здесь не мирное, а нацеленное на борьбу и на победу. Даже слово «здравствуйте» — обычное ежедневное приветствие — означает в переводе: «Победа».

Темперамент здесь горячее, чем в западных, рациональных религиях, и вера — не для медитаций и не для «поворачивания другой щеки» под удар. Святых и чудотворцев просят о помощи — об уничтожении врага.

«Шепот» и «голоса» моих древних предков, живших здесь с незапамятных времен, большей частью — бедных земледельцев, были поэтому не всегда успокоительными. Я явственно слышала их среди этих покрытых весенними маками холмов, возле серебристой реки с форелью, в этих долинах с виноградниками. Национальные цвета Грузии — черный и темно-красный, цвет тяжелого красного вина, — всегда говорят о крови и смерти. Среди своих предков здесь я не могла найти ни рафинированных артистов, ни интеллигентных книжников, а только любовь к земле, к почве. Звуки тяжелой работы и войны, стоны убийств и смерти заглушали мне прекрасные напевы лирических строк о любви, созданных дворянскими поэтами, современниками Пушкина и Лермонтова. И моя грузинская бабушка, молодая крестьянка, пришедшая жить в маленький городок с мужем-пьяницей, прожившая жизнь в нищете и побоях, так и не научившаяся читать и писать и работавшая всю жизнь прачкой, — вдруг она встала передо мной как символ силы и веры. Ведь она не поколебалась ни минуты, чтобы сказать своему сыну, ставшему потом главой государства, с чисто материнской бестактностью и безапелляционностью: «А жаль все-таки, что ты не стал священником!» То, чем он стал, ее не интересовало. Он не стал служить Богу, как она этого хотела. Сын был восхищен ее непреклонностью. Но вспоминал также: «Как она меня била! Ай-яй-яй, как она меня била!» И в этом, по-видимому, был для него знак ее любви.

Я помню бабушку Екатерину, хотя еще восьмилетней девочкой видела ее всего раз. Я не понимала по-грузински — это, наверное, было обидно для нее. Но она гладила меня по лицу своей костлявой бледной рукой и протягивала конфеты на тарелочке, а потом утирала той же рукой слезы со своих щек. Я была тогда так напугана ее строгой, бедной внешностью, а теперь искала хоть какую-то частичку ее жизни — что-то на память…

В Грузии было много незаметных скромных дальних родственников с ее стороны, все они никогда ничего себе не

требовали и старались жить незаметно. Инженер, винодел, дирижер оркестра, учитель — они были грузинами и никогда не стремились к Москве. Я знала лишь троюродную сестру отца — старуху Евфимию, как-то перед войной приехавшую в Москву повидать отца, и он узнал ее после нескольких десятилетий. Сейчас я никого не могла разыскать, чтобы расспросить их о бабушке. Партия и правительство дали мне шофера, но не захотели помочь найти родственников-грузин. Может быть, они все исчезли? Может быть, могли бы рассказать мне что-либо о преследовании их после хрущевской речи? Я не знаю ничего о них, кроме того факта, что они существовали, так как они были детьми этой Евфимии.

Музей в Гори хранил фотографии бабушки, ее старые очки, больше ничего… Все остальное мне надо было добывать в глубинах памяти «коллективного подсознательного», в фантазиях, в той церкви, куда она всегда ходила, и в очень немногих рассказах очевидцев. Хотя ее и поместили во «дворец», последние годы ее жизни обозначены отрезанностью от родичей и друзей: к ней никого не пускали. Кто знает, была ли мирной ее кончина? Отец приехал повидать ее незадолго до ее смерти, и тут она ему и выдала свое последнее материнское слово. Кто узнает, чем прогневили старуху партийные и чекистские стражи? По какой причине она приготовила сыну столь полное презрение к его земной славе? Но ничто не могло изменить ее, она была — как эти горы, как эта сухая земля и скалы.

И никто не сказал это еще лучше, чем Ахматова:

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла.
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

Но здесь же, в той же самой Грузии живы были тени всех Аллилуевых, от немки-бабушки до полуцыгана-дедушки, принесших на эти солнечные берега тени своих предков из разных концов земли. Если дедушка Аллилуев был известным «бунтарем» и наградил своих детей стремлением к правде, то от бабушки шел артистизм, хороший вкус, умение танцевать и актерствовать, а

также непреодолимое стремление к порядку, организованности и самодисциплине. Со стороны Аллилуевых мы никогда не слышали о неудовлетворенных амбициях, о жажде власти, да и о кровавых битвах. Все они наслаждались в Грузии ее глубокой любовью к красоте и мастерством в искусстве, знали пряную южную кухню, любили солнце и тепло, а потому в старости каникулы и отпуск всегда соединялись у них со стремлением к Черному морю.

Мария — Маргарита Айхгольц из местечка Вольфсольден в Вюртемберге отправилась в 1814 году на Кавказ со своими двумя внебрачными детьми. Кто знает — что за тайна скрывалась в этом? Чьи это были дети? Какие душевные качества были скрыты в этой короткой записи, обнаруженной немецким историком Карлом Штумпфом и сообщенной им затем моему старому покойному другу Клаусу Менарту? Профессор Менарт десять лет звал меня посетить деревушку Вольфсольден — и я собиралась, собиралась и пока пособиралась, дорогой профессор Менарт умер.

Он родился в Москве в самом начале века в семье «русских немцев», и отец его основал большое шоколадное дело в Москве — ныне это фабрика «Красный Октябрь». В 1914 году семья уехала в Германию. Потом после пришествия нацистов Клаус Менарт, политический журналист и историк, переехал в Америку. Мы встретились в 1967 году, когда он захотел проверить, существует ли на деле эта «немецкая линия» в нашей семье. Он признался позже, что не очень поверил в это, прочтя мои «Двадцать писем». Однако, когда по его инициативе Карл Штумпф разыскал запись о Марии Маргарите Айхгольц, — профессор Клаус Менарт сделался моим другом навсегда. Я бесконечно жалею теперь, что не побывала в Германии и не попыталась с его помощью раскопать эти наши корни. Потому что немецкий язык всегда жил в семьях моих двоюродных братьев Аллилуевых, и нельзя забывать старую культуру и музыку Германии.

В Грузии немецкие переселенцы были счастливы при царях, но подверглись высылке после второй мировой войны. Я пыталась разыскать что-нибудь о них в Тбилиси, и мне сказали, что «хорошие кирпичные дома немцев все еще стоят, но никого не осталось». Однако они все жили когда-то здесь, в этих солнечных краях, возделывали виноград и делали хорошее белое вино. Все их души тоже скрывались где-то в горах неподалеку, шептали что-то в листве деревьев, шелестели в высоких травах долин. Все они стали частью Грузии, гостеприимной страны, всегда открытой пришельцам с востока и с запада.

Меня переполняли эти звуки и голоса, неслышимые другим, эти видения, которые почему-то не встретили меня в Москве, где я родилась и прожила сорок лет. Здесь же я чувствовала себя, наконец, на Родине, где воздух, горы, реки все твои, и ты унесешь их с собою, вместе с этими шепотами и голосами, куда ты ни пойдешь отсюда… Древние камни, древние молитвы, древняя красота лиц, песен, танцев. Как хорошо, что мы прикоснулись к этому источнику, — мы, интернационалисты и космополиты. К крошечному народу в три миллиона душ, давшему нам столько вдохновения, красоты, слез, печали, о которых нельзя забыть. И это было правдой не только для меня, но — что крайне удивительно — также для моей дочери-калифорнийки.

9
ПАСТЫРИ ДУХОВНЫ

Католикос Грузии уделил много времени, беседам со мной о жизни, смерти и судьбе моего отца. Это неудивительно: пастырю всегда интересно знать, что случается с вероотступником. У него профессиональный интерес к таким делам. Удивительно мне было то, что он посвятил столько внимания последним минутам жизни Сталина.

Он был почти уверен, если не сказать — просто уверен, что почти всякий вероотступник в момент кончины возвращается мыслью и чувствами — последним движением своим — к Богу. Он не собирался сказать мне нечто приятное, нет. Он размышлял для себя. Ему надо было понять нечто очень важное для него самого.

«Смотрите, что случилось с ним, когда он оставил Бога и церковь, растившую его почти пятнадцать лет для служения!» — говорил он мне. Я тоже знала — и писала об этом в «Двадцати письмах», — что опустошение и глубина неверия в человека захватывали отца все больше и больше. А после смерти мамы и через несколько лет после смерти его матери, постоянно молившейся за него, он действительно покатился вниз, в пучину ненависти, которой так содействовала политическая борьба за власть.

«Однако годы образования под влиянием церкви не проходят даром, — продолжал католикос. — Это не проходит бесследно. Глубоко в душе живет тоска по Богу. И я глубоко верю, что последними проблесками сознания он звал Бога.

Это случается со всеми ними: под конец они хотят возвратиться назад».

Я рассказывала ему то, что уже описала в «Двадцати письмах» — этот последний жест умирающего: тот суровый взгляд, которым он обвел всех стоявших вокруг, и показал левой рукой с вытянутым указательным пальцем наверх. Этот жест совсем не был обращен «на фотографии на стене» — как интерпретировал его Хрущев (или тот, кто писал за Хрущева его официальные «мемуары»). Это был совершенно определенно угрожающий, наказующий жест, с призыванием Бога там наверху в свидетели… Поэтому некоторые, стоявшие тогда близко к постели, даже отпрянули назад. Это было страшно, непонятно. Потому что после нескольких дней затуманенного сознания оно вдруг на мгновение вернулось и выражалось в глазах. И в следующий

момент он умер. Католикос считал, что именно в этом жесте — о котором он раньше не знал, а книги моей не читал — было заключено доказательство последнего обращения к Небу.

Католикос рассказал мне историю, о которой я ничего до тех пор не знала. Во время второй мировой войны Сталина посетила делегация церкви Грузии во главе с тогдашним католикосом Каллистратом. Церковь молилась за победу и беспрестанно собирала средства на оборону. Они не знали, что правительство решило восстановить некоторые права церкви, вновь открыть многие храмы, вызвать из ссылки многих священников, открыть семинарии: это нужно было для победы, для поднятия духа простых солдат. Ничего не подозревая о таких обширных планах, делегация опасалась наихудшего. Каково же было их удивление, когда Сталин встретил их чуть ли не с распростертыми объятиями, угощал и задавал вопросы вроде: «Скажите, что нужно церкви? Мы все дадим».

Каллистрат возвратился в Грузию потрясенный виденным, потому что он был уверен, что видел перед собой почти что раскаяние, во всяком случае — виноватость. Он рассказывал эту историю много раз в кругах духовенства. В Грузии были восстановлены церкви, три семинарии, прием в которые увеличился. Это происходило тогда по всему Союзу. Каллистрату показалось, что он видел перед собою тогда человека, мучимого совестью. Как знать: быть может, неожиданный контакт со старыми учителями вызвал какие-то позабытые чувства. И среди духовенства Грузии существовало с тех пор мнение, что Сталин был человек, терзаемый чувством вины, — они в этом воочию убедились.

Представители духовенства поняли также очень хорошо во время этого визита, что они были нужны, что церковь была нужна советскому государству как духовная опора во время жесточайшей войны. Они видели, что руководитель партии хотел, чтобы они поняли это. Мы можем только догадываться о том, что, возможно, происходило тогда в его душе. Но духовные пастыри, в особенности такого калибра, его земляки, с которыми он говорил по-грузински (жалуясь, что «забывает язык»), могли увидеть нечто недоступное обыкновенным партийным бюрократам или атеистам. Они ожидали найти его твердокаменным суровым воплощением силы — как его рисовали в военные годы — а на самом деле они нашли раздвоенного человека, внезапно обнажившего перед ними душу и желавшего сделать для них все возможное.

Позже Хрущев снова обрушился на церковь в своем левацком коммунизме, закрыл многие семинарии и церкви. У Хрущева ведь

не было никаких «личных проблем» с церковью — как говорил мне патриарх. Но грузинский католикос был убежден, что Сталин стал внутренне терзаемым человеком в результате его отказа от веры. «После его смерти я всегда молился о его душе — сказал он мне, — так как его душе очень нужна помощь».

Я знала — или вернее догадывалась позже, когда стала взрослой и сама пришла к вере, что у моего отца была сложная душа, противоречивый характер и часто двойственное отношение к жизни. Что его инстинктивно тянуло к чистым душам, каковыми была его первая жена Екатерина Сванидзе и позже — моя мама Надя Аллилуева. Они были нужны ему. Ему нужна была какая-то опора, и он находил ее в хороших, чистых характерах. Однако они не выдерживали долго возле него и умирали, и тогда он лишался своих «ангелов» и злобные силы одолевали его. Когда я была еще маленькой чистой девочкой, я тоже была ему нужна, он находил возле меня успокоение и утешение; но когда я выросла и стала влюбляться в не приходившихся ему по вкусу людей, он отвернулся от меня.

В музее Сталина в Гори была одна замечательная фотография 1907 года, на которой еще молодой Сталин — двадцати восьми лет — стоит возле гроба своей первой жены. Она была так молода и обладала ангельской, чистой красотой даже в смерти, и он стоит, наклонив голову, с выражением горя на лице и черные волосы падают в беспорядке на лоб. Я видела эту фотографию не раз, но директор музея сказал, что они «сняли ее, так как волосы там не в порядке». О, святая глупость! Им нужно было, чтобы он выглядел уже тогда, как на монументах, — огромным, толстым, тяжелым, каким он не был даже в старости… Нервное, молодое, худое лицо с растрепанными волосами «не годилось для экспозиции». Но это было именно то, что увидели в нем годами позже духовные пастыри, и для них это было обнадеживающим знаком.

В музее Сталина в Гори никак не хотели увеличить прекрасную — и единственную — фотографию отца вместе с его матерью при последнем посещении в 1936 году. Они сидят рядом за столом, очевидно, в ее комнате, и она держит руку на его плече, а у него такое счастливое, такое любящее выражение лица, какого я вообще никогда у него не видела!

Его фотографий во время маминых похорон не существует, так как он на похороны не ходил. Не мог. Придя на прощание, он вдруг разъярился, оттолкнул от себя гроб руками и, круто повернувшись, ушел прочь… Он считал долгие годы мамино самоубийство «предательством». Только лишь в его официальной биографии, выпущенной в конце 40-х годов, наконец, в списке дат

и событий была отмечена «смерть Н. С. Аллилуевой, жены и друга И. В. Сталина». До того о ее существовании официально вообще не упоминалось. Очевидно, он наконец «простил» маму за ее «предательство».

В последние годы своей жизни он был невероятно холоден, закрыт ото всех и также от меня, погружен в какое-то мрачное молчание. Только с моими детьми всего лишь за три месяца до смерти он вдруг раскрылся и повеселел. Дети вели себя тогда, как всякие нормальные внуки, а он вдруг сделался обыкновенным дедушкой, угощавшим их всяческими яствами. Крестьянский сын, он жил только политикой всю жизнь, но его душе тоже нужны были какие-то отдушины. Мать занимала в его душе постоянное место и была надежной опорой и ему — никогда его не покидавшей. Жены и дети — были скорее разочарованием. Внуки могли бы быть утешением, но он не удосужился повидать их всех при жизни. «Грешник, большой грешник! — говорил католикос о нем. — Но я вижу его часто во сне, потому что я думаю о нем, о таких, как он. Я вижу его потому, что я молюсь о нем и могу разговаривать с ним во сне. Я видел его осенявшим себя крестным знамением».

Я ничего не могла сказать об этом католикосу. Он призывал к любви и к прощению и видел в этом свою миссию в наши жестокие дни. Я не знаю и не могу знать, прав ли он в своих предположениях. Но я знаю одно: последний момент жизни будет звать каждого из нас к полнейшей честности перед Богом, верим мы в Него или нет. И в этом смысле последний жест моего отца невозможно объяснить иначе, чем обращение к Богу: многие присутствовавшие видели его, и возможно, что каждый истолковал его по-своему. У церкви, у духовенства и у верующих есть, несомненно, право объяснять явления на основании тех понятий, которые составляют основу веры.

10
ДВА ПОСЛЕДНИХ РАЗГОВОРА

Здесь уместно, мне думается, вспомнить о двух событиях, происшедших в зиму 1952–1953 годов, событиях, предшествовавших и последовавших за смертью моего отца. Я не писала о них в своих прежних книгах. И значение их как-то больше раскрывается именно с расстояния лет, из ретроспективы. Сейчас мне кажется, что я вижу определенную связь между ними, чего я не видела ясно, когда писала «Двадцать писем». В обоих событиях этих странно фигурировал один и тот же человек. Именно потому что во время поездки в СССР в 1984–1986 годах мне пришлось слышать неправдоподобные версии о смерти моего отца, я полагаю, что необходимо сейчас дополнить мои старые книги нижеследующими фактами.

Последний разговор с моим отцом произошел у меня в январе или феврале 1953 года. Он внезапно позвонил мне тогда и спросил, как обычно, без всяких обиняков: «Это ты передала мне письмо от Надирашвили?» Я ничего не передавала. И, кроме того, существовало железное правило, чтобы писем к отцу не носить и не быть «почтовым ящиком». Однако он желал знать, кто же передал ему данное письмо. «Ты знаешь его?» — «Нет, папа, я не знаю такого». — «Ладно», — и он уже повесил трубку.

Разговор этот мне запомнился, потому что он оказался последним. В марте меня позвали к нему, когда он был уже без сознания. Возможно, оттого, что разговор был последним, я запомнила навсегда это имя: Надирашвили. Очень обычное грузинское имя.

В марте, когда отец умер, и мы все часами стояли в Колонном зале, глядя на народ, проходивший мимо, я невольно обратила внимание на высокого грузного человека, одетого как рабочий, проходившего вместе с большой делегацией Грузии. Он остановился, задерживая ход других, снял шапку и заплакал, размазывая по лицу слезы и утирая их этой своей бесформенной шапкой. Не заметить или не запомнить его крупную фигуру было невозможно.

Через день или два раздался звонок у двери моей квартиры в Доме на Набережной. Я открыла дверь и увидела этого самого человека. Он был очень высок и могуч в плечах, в запыленных сапогах, с простым красным обветренным лицом. «Здравствуйте, — сказал он с сильным грузинским акцентом. — Я — Надирашвили.» — «Заходите», — сказала я. Как же не впустить

незнакомца, когда я слышала его имя совсем недавно?

Он вошел, неся в руках большую папку или портфель, туго набитый бумагами. Сел в моей столовой, положил руки на стол и заплакал. «Поздно! Поздно!» — только и сказал он. Я ничего не понимала, слушала.

«Вот здесь — все! — сказал он, указывая на папку с бумагами. — Я собирал годами, все собрал. Берия хотел меня убить. В тюрьму меня посадил, сумасшедшим меня объявил. Я убежал. Он не поймает меня — Берия никогда не поймает меня! Где живет маршал Жуков, можете сказать? Или — Ворошилов?»

Я начала понимать, в чем дело. Значит, Надирашвили писал моему отцу о Берия, и кто-то передал письмо. Письмо дошло — было передано — но было ли оно прочитано? Вот к чему относятся горькие слова «Поздно!» Зачем ему нужен Жуков? Ворошилов живет в Кремле, туда не пройдешь.

«Жуков живет на улице Грановского, в большом правительственном доме. Квартиру не знаю», — сказала я.

«Я должен увидеть Жукова. Я должен все ему передать. Я все собрал об этом человеке. Он меня не поймает».

Он задыхался, должно быть, от усталости и волнения и то и дело начинал опять плакать. Простые грубые люди плачут вот так — как дети. Интеллигенты — никогда.

Я понимала, что неминуемо попадаю в какую-то таинственную сеть событий, но отказать ему я не могла. Он простился и ушел.

Через день, а может быть и в тот же день, раздался звонок телефона, и я с удивлением узнала, что мне звонит не кто иной, как сам Берия. Этого еще никогда не случалось, хотя я знала его самого и его семью много лет. Он начал очень вежливо, уведомив меня, что «правительство тут кое-что решило для тебя — пенсию и так далее. Если только что тебе нужно, не стесняйся и звони мне, как… — он замялся, ища слово, — как старшему брату!» Я не верила своим ушам. Потом безо всякого перехода он вдруг спросил: «Этот человек — Надирашвили, который был у тебя, где он остановился?»

Мы в СССР всегда предполагали, что телефоны подслушиваются, но это было уже совсем чудом техники! И кто ходит ко мне — тоже, очевидно, было тут же замечено. Я совершенно честно сказала, что не знаю, где остановился Надирашвили. Разговор на этом закончился. Это был мой последний разговор с Берия.

В обоих последних разговорах фигурировал один и тот же человек — таинственный Надирашвили.

Я позвонила к Е. Д. Ворошиловой и спросила, могу ли я

видеть ее мужа. Она пригласила меня в их квартиру в Кремль. Когда я рассказала Ворошилову о внезапном посещении, он побледнел. «Ты что, — сказал он, — хочешь нажить себе неприятностей? Разве ты не знаешь, что все дела, касающиеся Грузии, твой отец доверял вести именно Берия?» — «Да, — ответила я, — но…»

Тут Ворошилов просто замахал на меня руками. Он был не то сердит, не то страшно напуган, или же и то и другое вместе. Я допила свою чашку чаю и, поблагодарив хозяйку, ушла.

Но, по-видимому, я уже влипла в большие неприятности, потому что в последующие дни меня разыскали в Академии[9] и перепуганный и заинтригованный секретарь партийной организации сказал, что меня срочно вызывают в Комиссию партийного контроля (КПК) к тов. Шкирятову. Причин не объясняли, но секретарь понимал, что произошло нечто чрезвычайное.

В КПК на Старой площади меня повели к М. Ф. Шкирятову, которого я до сих пор видела только лишь за столом у моего отца, и то очень давно. «Ну как поживаешь, милая?» — спросил довольно дружелюбно Шкирятов. В партийных кругах было хорошо известно, что если Шкирятов обращается к вам «милок» или «милая», значит дела плохи.

«Ну, вот что, милая, садись и пиши, — сказал он, не теряя времени. — Все пиши. Откуда ты знаешь этого клеветника Надирашвили, почему он к тебе приходит и как ты ему содействовала. Нехорошо, милая, нехорошо. Ты в партии недавно, неопытная. Это мы учтем. Но ты уж расскажи всю правду. Вот бумага, садись вот там». — «Я не знаю, кто такой Надирашвили. Я видела его в Колонном зале и запомнила, а потом уже видела его у моей двери. Не впустить его было бы грубо. И я не знаю, каким образом я ему содействовала и в чем». — «Ну, это — злостный клеветник, — перебил Шкирятов. — Мы его знаем. Он клевещет на правительство. Значит, отказываешься объяснить?» — «Объяснять-то нечего. Я о нем ничего не знаю». — «Все равно садись и пиши».

Этого требовала процедура.

Комедия эта, когда пишешь «сам на себя» заявление, продолжалась несколько дней. А затем мне дали «строгача» — строгий выговор с предупреждением «за содействие известному клеветнику Надирашвили». Секретарь парторганизации моей Академии отнесся к событию очень благосклонно и сказал мне только: «Не волнуйтесь. Все проходит. Дают, а потом снимают. С вами тут что-то непростое: даже мне не объяснили, в чем дело!»

Один большой старый друг, всегда посвящавший меня в

правительственные и партийные новости, тоже советовал не волноваться. «Сейчас события начнут разворачиваться — не перестанешь удивляться! Прошу тебя ничему особенно не удивляться. Хорошо? Будь спокойна».

Я занималась окончанием своей диссертации и благодарила Бога за то, что Он дал мне много хороших друзей. Между тем у меня отобрали пропуск в Кремль, заявив, что на бывшую нашу квартиру мне ходить незачем. Я, конечно, не претендовала на «имущество» — это не было в моих привычках. И пошла сдавать пропуск в комендатуру. Там молоденький офицер вытаращил на меня глаза — ему казалось диким, что мне нельзя больше бывать в Кремле! Он пробормотал, что это «недоразумение». «Ничего, — рассмеялась я. — Я знаю — это не недоразумение, а решение». Он взял мой уже ненужный пропуск, все еще трепыхаясь от обуревавших его эмоций, а я пошла домой, в свою квартиру на набережной, где жила вот уже несколько лет со своими детьми.

Вскоре я узнала, что арестован Василий, мой брат. Его дочь сказала, что «папа пил с иностранцами, мы его предупреждали этого не делать». Потом позвонила его третья жена (чемпионка по плаванию, самый серьезный и хороший человек из всех его жен) и сказала, что его арестовали. Я не удивлялась — как мне и посоветовал сделать мой друг. Василий был генерал-полковником авиации и входил в высшие круги правительства и армии. С его характером, он, наверное, угодил в большую неприятность. Это он умел.

Всю весну и начало лета этого 1953 года я занималась своими книгами, детьми, хозяйством и старалась сидеть как можно тише, никуда не ходить. Как вдруг, где-то в начале июля позвонила мне приятельница и, задыхаясь от волнения, сказала: «Знаешь что? Шоферы говорят, что велели снимать повсюду портреты Берия. А на Садовой стоят танки». Вот так мы узнавали новости: через самые непредвиденные источники. Но шофер правительственного гаража — это достоверный источник!

Потом постепенно, из рассказов многих друзей раскрылась невероятная картина ареста Берия; содержания его в подвалах Московского военного округа; скорейшего заседания Трибунала; и — там же в подвалах — приведения приговора в исполнение.

Мне рассказал об этом ныне покойный главный хирург Советской армии Александр Александрович Вишневский, знавший близко всех высокопоставленных военных. «Ты только подумай, — повторял он, — ты только подумай! Просил на коленях даровать ему жизнь. Это человек — которого все так страшились! Так торопились привести приговор в исполнение, боялись его как огня. Жутко. Жутко!»

А затем началась читка в партийных организациях Объяснительного письма ЦК КПСС о Берия, где его называли «иностранным шпионом», «контрреволюционером со времен гражданской войны», «растленным человеком», и прочая и прочая. Читка была долгой. ЦК не поскупился на подробности о любовных похождениях теперь уже не страшного, поверженного и расстрелянного главы КГБ, разведки, контрразведки и всех секретных агентств. Мало что было сказано конкретно о деятельности этого человека — и о его жертвах, особенно на Кавказе, и в Москве.[10] В конце письма ЦК утверждал, что КГБ должен наконец заниматься своими делами, а не играть роль «второго правительства».

Этого все ждали, все хотели и встретили эти слова рукоплесканиями. В последующие годы, действительно, Хрущеву удалось поставить КГБ «на свое место». Но все началось тогда с обезвреживания руководителя.

Через месяц после этого меня снова вызвали в КПК на Старую площадь и уже некто другой, не Шкирятов, сказал мне, что выговор мой снят и что это будет сообщено в мою организацию. «Постарайтесь забыть об этом неприятном инциденте!» — сказал он с улыбкой. «Нет уж, вряд ли», — ответила я.

Таинственный Надирашвили, как я полагаю, все же сумел как-то передать Сталину что-то насчет деятельности Берия. Последовали тогда немедленные аресты всех ближайших к Сталину лиц: генерала охраны Н. С. Власика, личного секретаря А. Поскребышева. Это был январь-февраль 1953 года. Академик В. Н. Виноградов уже находился в тюрьме, а он был личным врачом Сталина и, кроме него, никто к нему не допускался. Поэтому, когда во вторую половину дня 1 марта 1953 года обслуживающий персонал нашел отца, лежавшим на полу возле столика с телефонами без сознания, и потребовал, чтобы вызвали немедленно врача, никто этого не сделал.

Безусловно, старые служаки, такие, как Власик и Поскребышев, немедленно распорядились бы без уведомления правительства, и врач прибыл бы тут же. Но вместо этого, в то время как весь взволнованный происходившим персонал требовал вызвать врача (тут же из соседнего здания, в котором помещалась охрана), высшие чины охраны решили соблюдать «субординацию»: известить сначала своих начальников и спросить, что делать. Это заняло многие часы (отец лежал тем временем на полу безо всякой помощи), и, наконец, приехало все правительство, чтобы воочию убедиться, что действительно произошел удар, — диагноз, который первой поставила подавальщица Мотя Бутузова.

Врача так и не позвали. В течение последующих 12–14 часов на даче в Кунцево разыгрывалась драма: обслуга и охрана, взбунтовавшись, требовали немедленного вызова врача, а правительство уверяло их, что «не надо паниковать». Берия же утверждал, что «ничего не случилось: он спит».

И с этим вердиктом правительство уехало, только чтобы вновь возвратиться обратно через несколько часов — так как вся охрана дачи и вся обслуга теперь уже не на шутку разъярились. Наконец члены правительства потребовали, чтобы больного перенесли в другую комнату, раздели и положили в постель, — все еще без врачей, то есть, с медицинской точки зрения, делая недопустимое. Больных с ударом, с кровоизлиянием в мозг нельзя передвигать и переносить. Это — в дополнение к тому факту, что врача, имевшегося поблизости, так и не вызвали для помощи больному.

На следующее утро начался весь цирк с Академией медицинских наук — как будто для установки диагноза нужна Академия! Не ранее чем в 10 часов утра прибыли наконец врачи, но они так и не смогли найти истории болезни с последними данными, с записями и определениями, сделанными ранее академиком Виноградовым… Где-то в секретных недрах Кремлевки была похоронена эта история болезни — столь нужная именно сейчас. Ее так и не нашли.

Когда 5 марта во второй половине дня отец скончался и тело было затем увезено на вскрытие, началась по приказанию Берия эвакуация всей дачи в Кунцево. Весь персонал и охрана, требовавшая немедленного вызова врача, была уволена. Всем было велено молчать. Дачу закрыли и двери опечатали. Все имущество и мебель вывезли. Никакой дачи никогда «не было». Официальное коммюнике правительства сообщило народу ложь: что «Сталин умер в своей квартире в Кремле». Сделано это было для того, чтобы никто из персонала не смог бы жаловаться: никакой дачи в данных обстоятельствах «не существовало»…

Они молчали. Но через десять лет — в 1966 году — сестра-хозяйка, работавшая на даче в Кунцеве в течение почти двадцати лет, пришла ко мне и рассказала всю вышеприведенную историю. Я не писала об этом в «Двадцати письмах другу»: книга уже была написана до того, как я услышала историю с вызовом врачей. Я не хотела ничего в ней менять — ее уже многие читали тогда в литературных кругах Москвы. Я не хотела, чтобы в 1967 году, когда я не вернулась в СССР, кто-либо на Западе смог бы подумать, что я «бежала» просто из чувства личной обиды или мести. Это легко можно было бы предположить, если бы я написала и то, что уже знала тогда о смерти своего брата

Василия.

Ему тоже «помогли умереть» в его казанской ссылке, приставив к нему информантку из КГБ под видом медицинской сестры. О том, что она была платным агентом КГБ, знали и предупреждали меня в Институте Вишневского, где она работала и где Василий лежал некоторое время на обследовании. Он был тогда только что освобожден Хрущевым из тюрьмы и лежал с язвой желудка, сужением сосудов ног и полным истощением. Там его и «обворожила» эта женщина, последовавшая затем за ним в Казань, где она незаконно вступила с ним в брак, так как мой брат не был разведен еще с первой своей женой и был, по существу, троеженцем уже до этого, четвертого незаконного брака.

Но права нужны были Маше для определенного дела, а КГБ с милицией помогли ей зарегистрировать этот брак. Она делала Василию уколы снотворного и успокоительных после того, как он продолжал пить, — а это разрушительно для организма. Наблюдения врачей не было никакого: она и была «медицинский персонал». Последние фотографии Василия говорят о полнейшем истощении: он даже в тюрьме выглядел куда лучше! И 19 марта 1962 года он умер при загадочных обстоятельствах. Не было медицинского заключения. Вскрытия не было. Мы так и не знаем в семье — отчего он умер? Какие-то слухи, неправдоподобные истории… Но Маша воспользовалась правом «законной вдовы» и быстро похоронила его там же в Казани. А без доказательства незаконности ее брака никто не может приблизиться к могиле Василия, учредить эксгумацию, расследование причин смерти… Надо подать в суд, представить как свидетельницу первую, неразведенную жену… Этого хотят друзья Василия, этого хотят его дети и хочу я. Однако Громыко не удостоил меня встречи по этому вопросу, когда я была в Москве. Значит — еще не хотят раскрытия всех обстоятельств…

Василий, конечно, знал куда больше, чем я, об обстоятельствах смерти отца, так как с ним говорили все обслуживающие Кунцевскую дачу в те же дни марта 1953 года. Он пытался встретиться в ресторанах с иностранными корреспондентами и говорить с ними. За ним следили и, в конце концов, арестовали его. Правительство не желало иметь его на свободе. Позже КГБ просто «помогло» ему умереть.

Ему был только сорок один год и, несмотря на алкоголизм, он не был физически слабаком. Остались три жены и трое детей, и, как ни странно, никто не помнил зла. Он был щедр и помогал всем вокруг, часто не имея ни рубашки, ни носков для себя. Его имуществом, именным оружием, орденами, мебелью после

смерти завладели две женщины, каждая претендуя на «права». Сыну не удалось получить на память «даже карандаша» — как он сказал мне. Истинное место Василия — на Новодевичьем кладбище, возле мамы, всегда так волновавшейся о его неуравновешенном характере. Он же любил мать без памяти, и ее смерть совершенно подорвала нервы подростка. Не отсюда ли начался его алкоголизм?

О смерти Сталина уже созданы какие-то официальные версии — наверное, продажные писатели напишут, по указке партии, «как все было». Я уже слышала кое-что об этом во время пребывания в Москве: фабрика лжи работает. Но когда-нибудь придется заговорить и о правде. Нужно будет собрать материалы свидетелей — имеются неизданные мемуары А. Н. Поскребышева, имелись записи в семье Н. С. Власика и его колоссальный фотоархив о жизни Сталина, с которым он провел более тридцати лет как глава охраны. Архив этот, как и мемуары Поскребышева, были арестованы КГБ. Нужно будет раскрыть свидетельства персонала дачи в Кунцево — таких, как подавальщица Матрена Бутузова, Валентина Истомина, сестра-хозяйка, офицеров личной охраны — Хрусталева, Кузьмичева, Мозжухина, Ефимова, Ракова. Всех их «послали на пенсию» — в лучшем случае — еще тридцать лет тому назад, но остались записи и разговоры, потому что молва не спит.

Теперь Кунцевскую дачу показывает редким избранным посетителям некто Волков и, утверждая, что он «тоже был там», рассказывает небылицы — или же официальные версии. Не было там никакого Волкова в те дни — это я знаю — и выдумки, которые я слышала, не раскрывают настоящую картину происходившего. Однако на дачу вернули мебель (бумаги, книги и личные вещи все еще не возвращены) и показывают ее по специальным разрешениям, даваемым правительством и … КГБ! За послехрущевские времена КГБ, конечно, снова набрал полную силу, став снова «вторым правительством».

Я никак не хотела, чтобы в 1967 году мой побег рассматривали как некую личную месть советскому правительству. Я и сейчас не хочу, чтобы так думали. Поэтому я всячески воздерживалась от публикации вышеописанных событий в моей первой и второй книгах. Но советское правительство боялось именно этого, а потому решило заранее объявить меня «сумасшедшей, которой нельзя верить», и даже сам премьер Косыгин не постеснялся заявить это с высокой трибуны ООН. Неужели меня так боялись? — приходит мне в голову. Боже, какая честь! Но я и не собиралась бросать публике «сенсационные сообщения о тайнах Кремля». Харрисон Солсбери так

охарактеризовал впечатление от моей книги: «Кремлевские стены не падут». Это означало, некоторое разочарование, но это означало также, что я не собиралась сводить счеты с советским правительством из-за рубежа.

Сейчас, заканчивая эту последнюю, четвертую, книгу, я хочу наконец сказать все об отце и брате — чтобы ничего не оставалось недосказанным. Прошло уже тридцать пять лет с тех дней. Пора. Будущий историк найдет мои книги занимательными — и богатыми фактами.

У меня нет никакой личной злобы, ненависти и чувства мести по отношению к отдельным лицам советской верхушки. Берия был единственным в своем роде, и ему удалось погубить добрую половину нашей семьи. Но дело не в этом и не в нем.

Я считаю всех их равнозначными, ни один не хуже, не лучше другого. Все они продолжают дело жестокого угнетения могучего, талантливейшего народа — начатое большевистской революцией семьдесят лет тому назад. Я люблю прекрасную страну, где я родилась, и преклоняюсь перед великой русской культурой, которую не уничтожили даже все эти семьдесят лет. Советский Союз и сегодня — неистощимый источник талантов во всех областях жизни, науки, искусства — настоящих, Богом данных талантов, тех, что развиваются не в роскоши и комфорте — а именно при отсутствии таковых, в темных, тесных комнатушках советской действительности, но при необыкновенной концентрации всех сил духа, сердца и ума. Роскошь еще не отвлекает советских «будущих Платонов и быстрых разумом Ньютонов» от работы — так как роскоши там не существует.

Я лишь мечтаю о том времени, когда с плеч многонационального великого народа свалится наконец тяжелое бремя ленинской партии, убийц и обманщиков, и люди наконец вздохнут свободно. Это не за горами. Мои внучки, конечно, доживут до тех дней. Мне же остается только видеть сны в предвкушении.

11
НЕИЗБЕЖНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ

После отступления на тридцать лет назад, сделанного в предыдущей главе, уместно теперь перекочевать на тридцать лет вперед, поспевая за бурно развивавшимися с тех пор событиями.

Итак — «мы были в Грузии». Мы приехали сюда после двадцатилетнего отсутствия, и я вновь открывала для себя этот прекрасный, коварный, во многом для меня незнакомый и загадочный край.

Поскольку я прожила всю жизнь в Москве и не говорила по-грузински, за исключением отдельных слов и фраз, мне пришлось заново узнавать Грузию, где жили все мои предки. Моя дочь, родившаяся в Америке, проделывала тот же путь с неменьшим энтузиазмом. Для нее так странно было сопоставлять эту маленькую южную республику с современной Америкой, ее родиной. Для меня еще страннее было вдруг перекочевать из космополитической бурлящей современной Москвы в эту крошечную страну с ее древними камнями, крепостями обычаями. Глубоко укоренившийся здесь национализм, часто дикий и нетерпимый, заставил меня неожиданно понять и оценить — в данных обстоятельствах — все превосходство моего московского космополитического воспитания.

Москва, многомиллионная столица, открытая с начала XX века всем европейским влияниям и воздействиям, предоставила моему брату и мне вполне интернациональное воспитание в духе той эпохи: конца 20-х — начала 30-х годов. Никто в нашей семье не считал тогда, что мы должны знать грузинский язык. Мы даже не знали, кто такие были «грузины»! Брат говорил в детстве — «это те, кто бегают с кинжалами и вспарывают всем животы». Нас обучали немецкому языку с детства, это был тогда язык новой технологии, а значит — и культуры. Французский в те дни в СССР отошел в прошлое вместе с дворянским обществом, культивировавшим его. Мама следила за нашим образованием и воспитанием, а отец не вмешивался в этот процесс. И мы ни в коем случае не должны были превратиться в узких националистов.

Мама любила во всем совершенство и серьезную работу, и мы учились, помимо занятий с гувернантками дома, в прекрасных школах. Затем мой брат начал военную карьеру, а я изучала историю и литературу в Московском университете. Мое образование и воспитание были настолько космополитическими,

что в Америке меня всегда коробило, когда меня настойчиво приглашали в «Русскую чайную» в Нью-Йорке. За двадцать лет я умудрилась так и не побывать там. В Америку я приехала уже законченным космополитом — в особенности после моего индийского опыта. Пирожки в русской чайной в Нью-Йорке, куда меня так усиленно зазывали, были для меня тогда показателем какой-то неимоверной затхлости и узости мышления. Но мои новые американские друзья никак не могли понять, почему я с негодованием отказывалась посетить эту «Русскую чайную» — предмет их искренних восторгов. Я была в те дни так счастлива выбраться в широкий, открытый мир! Он был прекрасен, и мне хотелось с энтузиазмом узнавать все больше и больше о всех неизвестных мне до той поры нациях мира, в том числе об индейцах Америки, которые внесли и свою лепту в этот уникальный сплав — в американскую культуру. А меня зовут сидеть за самоварами!

За последовавшие годы я вполне сжилась с американским образом жизни, и в этом я в значительной степени обязана моей дочери-американке, которая внесла свою огромную долю в этот процесс. За два года, проведенных недавно в Англии, мы познакомились с еще одним глубоко интернациональным образом жизни: Британским Содружеством Наций, где единство и демократизм так очевидно демонстрируются всеми — от королевы до школьников интернациональных пансионов. Это было незаменимым опытом для нас с Ольгой, которая в ее квакерской школе еще больше узнала о мире и равенстве наций.

И вот, теперь, после всего этого многообразного опыта, мы вдруг очутились в совершенно ином мире — маленьком, древнем, гордом. Мы-то были вполне подготовлены принять и его в свои горячие объятья, так же точно, как Ольга совсем недавно обняла в своей школе детей из Кении, Уганды, Индии, Пакистана и Индонезии… Но однажды в компании грузинских детей моя молодая интернационалистка, находясь под впечатлением от армянского джаза и от парикмахера-армянина, выразила свое восхищение ими.

Каково же было ее удивление, когда после выразительного молчания ей было замечено, что «об армянах даже не полагается говорить в грузинской компании». Это ее совершенно потрясло своей несправедливостью, и она тогда с упрямством продолжала настаивать, как ей нравятся армяне, их музыка, их джаз и все их программы на местном телевидении. Она совершенно шокировала своих друзей, которые затем ей вежливо заметили, что они, конечно, прощают ей ее неведение, как иностранке, но что она просто не может и не должна ставить «этих армян» на

равную ногу с ними, грузинами. Ольга вернулась домой из этой молодежной компании совершенно обескураженная подобной несправедливостью, источник которой она не в состоянии была понять, и я твердо сказала ей, что она права. К сожалению, она просто попала не в лучшую из компаний, так как в кругах лучшей интеллигенции Тбилиси грузины и армяне веками жили в дружбе и в прекрасном творческом сотрудничестве. А город Тбилиси всегда был образцом космополитизма — во всяком случае — до революции.

Но мы-то прибыли сюда совсем из другого мира, который даже я — после стольких лет — уже считала своим и где интернационализм и терпимость давно сделались нормой мышления и поведения. Мы уже не могли расстаться с этим западным, глубоко нами воспринятым космополитизмом, мы не могли его отбросить просто так, из сентиментального отношения к Грузии даже, несмотря на нашу глубокую сердечную любовь к Грузии, к этой прекрасной и щедрой стране горячих сердец.

Америка — этот Дом для всех — не могла быть так скоро забыта. И законы, запрещающие унижать и оскорблять представителей иных наций и религий, приходили здесь на ум куда чаще, чем мы могли это предполагать. В особенности, когда вы находитесь далеко от страны, где эти законы являются нормой жизни.

Безусловно, я даже не могла заикнуться в моей древней экзотической грузинской церкви о факте своего перехода к католикам… Воображаю, какой скандал это вызвало бы. И весь оперный ритуал, прекрасное пение и изнурительные литургии с пятичасовым стоянием на ногах не смогли бы заменить мне экуменической службы в англиканском соборе Св. Павла в Лондоне: когда около двух тысяч верующих-христиан со всех сторон земли традиционно собираются здесь в летние воскресенья, чтобы служить литургию сообща. Никто не спрашивает их, к какой церкви они принадлежат, каждый получает причастие возле алтаря на равных основаниях. Я помню, как потрясена тогда я была этим равенством, с которым нас всех там принимали. Звучал прекрасный камерный ансамбль, а потом мы все двинулись к причастию, и я знала, что мой сосед был вообще агностиком, но он так хотел получить причастие… Возможно, что этот момент равенства оставил неизгладимое впечатление в его сознании в пользу церкви, потому что его не оттолкнули. Даже спокойная служба в лондонской семинарии или многонациональное собрание во время францисканской Народной мессы в Калифорнии, в особенности их Пасхальное ликование, оставляли это прекрасное чувство открытых дверей и

гостеприимства. Нет, здесь, в Грузии, в пятнадцативековой православной церкви я не могла признаться в моей «ереси». Никакие объяснения не помогли бы здесь — и меня бы выкинули вон.

Но в большом мире, где мы уже прожили немало лет, необходимо обнять всех — и братьев-христиан, и даже нехристиан. И при всей красоте неземного хора, обволакивающего вас звуками, сопровождаемыми курением ладана, когда вы как бы один перед Богом, вы знаете, что вам нужно взять за руки и других, чтобы выразить мировую соборность, мировое единство людей перед Богом. Здесь же мы чувствовали свою — и их — отъединенность, специфичность, неповторимость — но и одиночество… Мы чувствовали, в особенности в церкви, не только уникальность этой страны и ее культуры, но также и то, что мы-то уже привыкли к культуре Запада, объединяющей все необъединяемое. И чем сильнее мы привязывались к этой родной нам земле и ее чудесным людям, тем больше мы понимали, что день расставания неминуемо придет. Мы не знали еще когда. Но мы уже чувствовали, что начинаем задыхаться в этих горячих объятиях.

Конечно, здесь, в Грузии, мы во всем были на стороне грузин против всех спускаемых сверху, с «севера» распоряжений. Это касалось не только подавления их национальной самобытности, но и экономики. Урожай чая, цитрусовых, фруктов, вина немедленно отправлялся весь «на север», так же как и продукция местного автомобильного завода, и добываемая марганцевая руда, и другие богатства. И хотя Грузия всячески пыталась противостоять этим регулирующим правилам, особенно в сельском хозяйстве, — она знала, что битва была неравной.

Тогдашний ее партийный вождь Эдуард Шеварднадзе остроумно решил, что вместо неравной борьбы за местные интересы лучше во всем поддерживать «север». Эта личная политика завоевала ему признательность Москвы, куда он, в конце концов, и был вызван, чтобы получить пост министра иностранных дел в новом правительстве Горбачева. Но об этом шаге — позже. В Грузии же Шеварднадзе сделал все возможное и невозможное, восхваляя «союз» России и Грузии, вплоть до установления монумента в честь ненавистного здесь Гергиевского трактата 1784 года, по которому грузинское королевство подпало под унизительную власть Петербурга, потеряв свою независимость, свою династию и статус свободного христианского государства. И этот национальный позор теперь был отмечен монументом подозрительного художественного качества и бесконечными официальными партийными

празднованиями! Местное население, церковь и интеллигенция негодовали, но Шеварднадзе пошел после этого в гору в своей карьере… Время от времени под привлекательным видом «борьбы с коррупцией» он отправлял в тюрьму своих местных противников. Москва смотрела на эту «борьбу с коррупцией в национальных республиках» благосклонно — там серьезно полагали, что она полезна. Но нам были известны случаи, когда эта «шапка» служила хорошим прикрытием для осуждения любых инакомыслящих и также личных противников.

Я уже говорила о своей первой аудиенции у Эдуарда Шеварднадзе. Он дал мне понять, что в моем случае все зависит от решений Москвы, которым он будет неуклонно следовать. Я поняла тогда, что передо мной был очень неглупый человек, большой дипломат с далеко и высоко идущими целями. Сегодня в этом ни у кого не может быть сомнений. Но тогда в небольшой окраинной республике еще не видны были открывавшиеся ему одному горизонты. Шеварднадзе носил плотную маску, не выдавая своих истинных чувств: здесь многие считали его либералом, иные же полагали, что он далеко пойдет благодаря своей хитрости. Невыразительное лицо с водянистыми глазами, напряженная ненатуральная улыбка — когда надо — и белые, стоящие вокруг лба наподобие одуванчика волосы делали его столь непохожим на обычно открытых, громких, шумных грузин. Он не стремился здесь к популярности среди своих соотечественников: быть популярным в Москве было куда более важно для него. Что касалось нас с Ольгой, было ясно, что у нас всегда могут возникнуть непредвиденные трудности в результате нажима из Москвы — а с московскими идеями о нашей «ускоренной советизации» мы ведь уже познакомились там, на севере…

12
ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

Умер долго болевший премьер Черненко, и на его место был избран сравнительно молодой — и совершенно новый, немного провинциальный еще со своим южным говором, здоровый и жизнерадостный Михаил Горбачев.

Слухи ходили, что он либерал. Но он держался еще очень осторожно в том засилье консерваторов, которое унаследовал от почти двадцатилетнего правления Брежнева и ему подобных. За то время, что мы находились в СССР еще не было заметно каких-нибудь радикальных перемен.

Выпускник Московского университета, Горбачев представлял собою новый слой в самой партии — где старые методы работы уже не могли никого удовлетворить. Живя в Грузии, мы не могли еще понять, как он отнесется к нашим проблемам и, как все в СССР, жили слухами. Печать сообщала очень мало о новом лидере, и, помимо его немедленно же начавшейся борьбы с алкоголизмом, пока еще мало что было известно. Запрет на вино — еще одна новая идея с «севера» — не встретила энтузиазма в винодельческой республике, где каждый крестьянский двор производит свой сорт вина.

Горбачев пришел к власти в марте 1985 года. Летом он уже начал «смену кадров», то есть стал назначать своих, более молодых и либеральных людей. Затем пришло назначение Шеварднадзе на пост министра иностранных дел Грузии.(? — Д.Т.)

Поскольку Грузия располагала большим количеством высокообразованных дипломатов на низших должностях, все удивились, почему выбор пал на совершенно неподготовленного к дипломатическому поприщу бывшего главу грузинского КГБ, плохо говорившего даже по-русски? Но потом поняли, что именно это и его верноподданничество заслужили ему этот высокий пост. И перестали удивляться.

Мы провели лето ни традиционных курортах Черного моря. Я бывала здесь в детстве, и мне так хотелось, чтобы Ольга тоже отведала этих красот: Черное море необыкновенно притягательно, а районы старых курортов необычайно разрослись — я ничего не узнавала здесь!

В доме отдыха мы встречались с партийными работниками и их женами, что было весьма скучно. Но Олю тут же окружила молодежь, многие говорили по-английски, и она была как рыба в

воде в своей роли Посланника из Свободного мира. Именно так ее молодежь здесь и воспринимала. С ее светской жизнью все обстояло как нельзя лучше, но вот перспективы ее школьного образования были неутешительны.

Хотя она неплохо болтала по-русски, а также по-грузински, этого было недостаточно для освоения обширной советской школьной программы. Теперь ей не хотели больше разрешать занятия дома, а садиться за парту в школе было бы невероятно трудно для нее. Я все более понимала, что не смогу «войти снова в коллектив» под контролем партийной организации, — одна мысль об этом лишала меня сна. На меня по-прежнему смотрели как на странную птицу, залетевшую сюда по ошибке, — разглядывали с любопытством и неизменно заводили разговор о том, «какой великий человек был ваш отец». От этого было невозможно увернуться. Это была здесь какая-то болезнь. Все были одержимы бесконечными рассуждениями на эту тему. Мне же было очень трудно вообще что-либо отвечать им, я сердилась и нервничала, а они не понимали почему…

В декабре 1985 года я написала первое письмо Горбачеву, объясняя, что мы приехали сюда «с целью соединиться с семьей», но поскольку этого нам не удалось добиться, я полагала, что не было никаких дальнейших причин для нашего дальнейшего пребывания здесь. И я просила разрешить нам выезд из СССР. Поскольку мы были теперь советскими гражданами (хотя и с двойным, американским гражданством), нам надлежало получить таковое разрешение только у советского правительства.

Никакого ответа не последовало. Это — типично в СССР. Никто не напишет вам, что ваше письмо получено и рассматривается, — секретарши этим не занимаются. Вы просто должны сидеть и ждать, надеяться на лучшее и молить Бога, чтобы помог.

От дочери Катерины больше не было писем. На все мои письма к ней на ее вулканостанцию в городе Ключи на Камчатке она не ответила ни слова. Мой сын ни разу не звонил и не писал, с тех пор как мы уехали из Москвы. Писали мне только мои племянники да двоюродные братья.

На лето мы пригласили к нам мою двоюродную сестру Киру Аллилуеву, актрису на пенсии. Она быстро нашла общий язык с Олей, они играли на пианино, пели, отплясывали чарльстон и вообще веселились. Поскольку все остальные родственники отнеслись к нам дружелюбно, я определенно решила, что с моими детьми была проведена некая «специальная работа», что им вбивали в голову ложь и клевету на меня, а потому они так переменились. Это было что-то поистине чудовищное, я никак не

могла смириться и принять этот факт — хотя католикос, с которым я много разговаривала об этом, постоянно уверял меня, что «любовь победит», что я «должна быть терпеливой и ждать». Я не понимала этого «наказания», в особенности от моей Кати — всегда бывшей такой славной девочкой, горячо любившей меня.

Ответа от секретариата Горбачева не поступало. Не было ответа также и от Громыко, с которым я просила встречи, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с судьбой моего брата Василия. Просто — никакого ответа. Можете думать все что вам угодно!

Это опять же заставило меня вспомнить нашу жизнь на Западе, где серьезно и уважительно относятся ко всем пишущим в правительство. В цивилизованном обществе не ответить на письмо просителя — просто неслыханная грубость. Я еще раз почувствовала, как оторвалась от советского образа жизни, в котором просуществовала более сорока лет…

В первые дни в Москве, еще в начале ноября 1984 года произошел эпизод, показавший, насколько, действительно, успела я позабыть советские правила жизни. Мое переключение в иную жизнь было полным и искренним. В Москве же я то и дело попадала впросак от этого. Вместе с моим двоюродным братом, молодым доктором, немного походившим на Чехова с его бородкой и в очках, мы сидели тогда в ресторане гостиницы «Советская» и ели борщ. Это была наша первая встреча по приезде в СССР, мы смеялись, чувствовали себя легко. Вдруг я обратила внимание на какие-то цифры, помещенные на бархатном занавесе, скрывавшем от глаз эстраду. «1917–1984, — прочла я вслух и спросили брата: — А это что такое? Чей-то юбилей?»

Брат посмотрел на меня неверящими глазами и начал давиться от смеха, прикрывая рот рукой. «Ты что? — выдавил он наконец, — совсем, как видно, оторвалась? — Он давился от смеха и оглядывался по сторонам, не слышал ли нас кто-нибудь. — Цифру тысяча девятьсот семнадцать совсем позабыла?» И только тогда меня осенило, что это были, конечно же, даты Октябрьской революции — праздник, ежегодно справляемый в СССР, но которого я не отмечала вот уже восемнадцать лет… и совершенно позабыла о нем, поскольку он не жил в моем сознании.

Праздники, давно позабытые, и правила ежедневной жизни вспоминались с трудом. Отсутствие ответов из канцелярий правительства воспринималось как полное отсутствие культуры общения с людьми. Как важно, оказывается, иметь хорошие манеры! Быть вежливыми с чужими людьми, уступать дорогу, благодарить или извиняться на улице. Вдруг стало так недоставать американского обычая беспричинно улыбаться друг

другу.

В последовавшие вслед за декабрем месяцы никаких ответов так и не было. Еще в ноябре 1985 года я послала множество рождественских поздравлений в Англию и в США в надежде, что придут ответы: нам вдруг стало так недоставать праздника Рождества…

В нашей квартире в Тбилиси мы поставили елку и пригласили Олиных друзей прийти на 25 декабря. Ничего особенного — обыкновенное угощение. Но им так хотелось провести день «по-американски». Несколько писем и рождественских карточек уже пришло к нам, главным образом из Англии, и наши гости с интересом рассматривали их.[11] Мы рассказывали, как все ходят друг к другу в гости — с подарками для всех членов семьи, для всех друзей… Наши традиционные американские праздники в Принстоне, которые Оля так хорошо помнила и любила, стали вдруг необыкновенно дорогими: День Благодарения, Пасха, Рождество, День Независимости, День Труда. Мы жили иной жизнью, я жила иной жизнью — и хотя здесь мои старые друзья полагали, что я очень скоро позабуду о ней, этого совсем не происходило. Скорее — наоборот.

Проходили месяцы, а ответа из Москвы не было. Я понимала, что новый лидер очень занят и ему не до нас. Но что-то подсказывало мне, что весьма возможно наши просьбы просто не были переданы ему… Такое тоже часто случается в СССР, если какой-либо высокопоставленный бюрократ решает, что следует и что не следует передавать высшему начальству. Иногда даже таковой бюрократ может вам ответить на ваш запрос — такое также случалось в моем советском опыте. Но наши просьбы уже стали документом, поскольку они были выражены на бумаге и отправлены «наверх». Рано или поздно — может быть, через весьма долгое время — какой-то ответ все-таки должен прийти.

Тем не менее, для того чтобы проверить, что случилось с нашим письмом, мы отправились морозным февралем 1986 года в Москву. Мы ехали медленно, поездом, наслаждаясь старомодным мягким и теплым купе: я хотела, чтобы Ольга знала, что такое путешествие поездом, долгий путь в два дня и две ночи. Мы как бы перешли вдруг в девятнадцатый век — и что-то было успокоительное для меня в этой давно позабытой старомодности.

Все соседи ехали со множеством припасов, обменивались фруктами, угощали нас вином и холодной жареной курицей. Вот так вот путешествовали и наши бабушки, — говорила я Ольге, не знавшей до той поры ничего, кроме самолетов с едой на маленьком подносике тут же в кресле, в котором у нее немели ноги, поскольку они были для них слишком длинны. В поезде же

мы комфортабельно спали на чистых простынях. Днем я неотрывно смотрела в окно на расстилавшийся белый зимний пейзаж и ловила себя на том, каким сентиментальным оказалось для меня это путешествие: мы ехали по той же железной дороге, что всегда вела на юг, к Черному морю и обратно на север — в течение всех лет моего детства, юности, в течение почти что всех сорока лет моей жизни в СССР…

…Удивительно, что вдруг вызывает к жизни забытое детство. Не Кремль, где я жила столько лет (я даже не пошла посмотреть его на этот раз), не Москва и ее улицы — но вот этот путь поездом — через Ростов, Харьков, Орел, Курск, Тулу. Из Москвы — на Кавказ. Я ничего не знала, чем нас встретит Москва, что нам скажут, какие придется вести разговоры или бои… Но поездка эта как-то разбередила мне сердце, старомодные спальные вагоны были все такими же, как и тогда. И я понимала, что горечь в моем сердце будет назревать и расти — теперь, когда мы уже официально попросили о выезде… Не так-то это просто, дорогой читатель, когда вы ездили по этой же самой дороге поездом почти каждое лето вашей жизни.

13
ПРЕПЯТСТВИЯ

В Москве на заснеженной станции нас встретил младший из четырех моих двоюродных братьев, сын моей тетки Анны, и мы поехали в его малолитражке к ним домой на улицу Горького. Его жена, которую, кстати, тоже звали Светлана (Ивановна) Аллилуева, на следующий же день водила Ольгу по магазинам, протянувшимся по всей длине улицы Горького. Света работала администратором в Доме журналистов, а мой кузен — в журнале «За рулем». Их сын заканчивал Институт международных отношений, хорошо говорил по-английски: Оле он ужасно понравился. И здесь четырнадцатилетняя американка вызывала огромную симпатию, тем более теперь, когда она довольно сносно объяснялась по-русски. Никто не мог поверить, что всего лишь за год — и в Грузии! — она так хорошо выучила русский язык. Преподаватели языка там были необыкновенно сильны, как и сам ускоренный метод. Сейчас Оля чувствовала себя совсем не такой несчастной, как это было по приезде. Я только поражалась ее способности к мимикрии: здесь из грузинской девочки, которой она старалась быть в Тбилиси, она превратилась в русскую, тоже с легкостью и с удовольствием. Может быть — она прирожденная актриса? Ей нравится входить каждый раз в новую роль.

На улице Горького жил также мой племянник Саша, сын Василия, теперь режиссер театра. Мы ходили к нему в гости, слушали пение под гитару его друзей-цыган, и, разумеется, пили водку — а как же без этого! Я сказала ему, что мы намереваемся уехать, и он был опечален и смущен, потому что он не знал, что лучше. У него были мягкие карие глаза моей мамы (его бабушки) и все та же аллилуевская впечатлительность и нервность. В сорок пять лет он выглядел необыкновенно молодо, был очень худым и привлекательным. С печалью я сравнивала его со своим сыном, выглядевшим намного старше своих лет и каким-то отяжелевшим.

Он не подавал уже давно о себе вестей, а потому мы и не пытались встретиться. Но однажды вдруг к моим хозяевам позвонила его жена Люда — по-видимому, в сильном подпитии, — и я увидела, как замолк у телефона мой кузен и как вытянулось его лицо. Потом он положил трубку, не сказав ни слова, и, немного помолчав, заметил: «Ну, слыхал я мат в своей жизни, но такого… Что это она?! Начала меня обкладывать, как

милиция, за то, что вы у нас остановились! Я даже не нашелся, что ей на это сказать».

Вежливый, спокойный Володя был в полной растерянности. Инцидент этот был малоприятным. Но Володя и его жена давно знали Люду и считали ее «стукачкой», а теперь они убедились, что она не питает ко мне никаких положительных чувств. Я их успокаивала тем, что мне все равно. Одним врагом больше, одним меньше — не имеет значения. Но страшно было знать, что мой сын, по-видимому, был целиком и полностью под ее влиянием.

Пришел Гриша узнать, как наши дела, и я сказала ему, что не получила никакого ответа от Горбачева. Гриша был теперь, по-видимому, весьма близок к делам «наверху» — куда более близок, чем я могла предположить. Он посоветовал мне встретиться с одним очень высоким чином из КГБ и узнать у него, как обстоят мои дела. «Может быть, ты что-либо выяснишь у него», — сказал Гриша загадочно. Я изумилась такому повороту, но пора было мне уже переставать удивляться… Мы приехали в Москву всего на несколько дней и, поскольку ответа было негде больше искать, я позвонила по предложенному номеру товарищу Н. Он сразу же назначил мне аудиенцию.

Выглядел он, как новая порода довольно цивилизованных и образованных чекистов, из тех, что ездят за границу и видели мир. Он бывал в Англии и США и говорил по-английски, но это не потрясло меня. Потрясло меня совсем иное — хотя я и так уже догадывалась о его высоком положении. С приятной улыбкой он сказал: «Между прочим, я был первым, кто предложил разрешить вам вернуться, когда мы узнали о вашем письме в посольство в Лондоне. Мое „да“ было решительным и определенным. Раздавались и другие голоса, — как вы можете хорошо себе представить». Я не могла спросить его, в каком качестве он мог оказаться столь близко к делам посольства — но какая мне разница! КГБ и МГБ — повсюду, лезет делать политику, как внешнюю, так и внутреннюю. Так что же, сказать ему «спасибо»? Я молчала.

Мне было не по себе с ним, так как он все время приглашал меня к разговору по душам, шутил, рассказывал о своих поездках за границу — мол, и мы там бывали, все знаем… Я же хотела лишь знать, получил ли Горбачев мое письмо.

«Он знаком с его содержанием, — наконец загадочно произнес Н. — Ваша дочь может возвратиться в свою школу в Англии, это не проблема. Конечно, она теперь поедет туда как советская гражданка и сможет приезжать к вам сюда на каникулы. Это все очень просто устроить».

Я смотрела на него в молчании. Так, значит, это он передает мне мнение Горбачева? Или — кого-то иного? Горбачева «ознакомили» с моим письмом? А этот Н., по-видимому, решает мою судьбу — как он только что признался в этом сам.

«Вам следует переехать в Москву, — продолжал он уже серьезнее. — Ведь вы — москвичка! Грузия — неподходящее место для вас. Ведь вы там никогда раньше не жили. Все ваши старые друзья — здесь». Я слушала и понимала, что вот мне и передали официальный ответ… Я молчала. Но внутри меня все кипело: я отвыкла от этого советского метода решать судьбу людей.

Наконец, я сказала ему, что буду все же продолжать настаивать на том, о чем писала Генеральному секретарю. На это он сказал дружески: «Мне бы очень хотелось познакомиться с вашей дочерью. Она уже может говорить по-русски?» Я заверила его, что она уже вполне может объясняться, дала наш адрес и телефон и распрощалась с ним. Он отвез меня на улицу Горького. Его шофер сидел с каменным лицом, не сказав даже ни здравствуйте ни до свидания.

Дома я схватилась за валидол, оставленный Гришей. Значит, и дорогого Гришу тоже прибрали к рукам и используют как «мост» ко мне. Господи, Господи, отвыкла я от этих методов. Некуда деваться. Мы даже не поговорили с Гришей как следует о нашем сыне и о нашем внуке, он просто зашел, только чтобы сказать мне насчет свидания с этим важным лицом… Казалось также, что Гриша был недоволен и сыном и внуком, которых он видал весьма редко. «Что за странная жизнь, — сказала ему я, — ведь вы-то все живете в одном городе». — «Ах, это проклятая полька, его мамаша! — заметил он. — Не огорчайся, береги сердце!» Это был теперь его постоянный припев. Невозможно было разобраться во всех этих тонкостях, но что-то было здесь неладно.

Отец Катерины, Юрий Андреевич Жданов, прислал мне о ней хорошее письмо из Ростова, где он все еще по-прежнему преподавал в университете. Прислал ее фотографии — и я наконец-то увидела мою Катю, взрослую, тридцатилетнюю, с маленькой дочкой, но все такую же, какой я ее знала. На одной из фотографий она сидела на низенькой камчатской лошади. Они там либо на лошадях, либо на вертолетах — по бездорожью. На другой — она пела с гитарой в руках. Оля тоже ездит верхом и училась на гитаре — они даже похожи, две черноглазки… Анюта же, дочка, белобрысенькая с голубыми глазами. Юра писал мне: «Будь терпелива с ней. Она ужасно самостоятельная. Ничьих советов не слушает. Но хорошо работает, будет серьезным

ученым». В последнем у меня не было никаких сомнений. Сомневалась я лишь, что увижу ее вообще когда-либо…

Здесь в Москве мы встречались с моими родственниками и со старыми моими друзьями. Видеть сына у меня не было намерения. Раз он знает, что я здесь, и даже — где я, может позвонить. Но звонков не последовало. Я думала, что Ольга была права, когда однажды заметила мне довольно едко: «У тебя была я. Разве этого мало? Нет, ты захотела их всех. Видишь, что ты получила! Нам надо было жить в Англии, как мы жили».

В самом деле, она была права. Когда я попросила сына переслать мне в Грузию мои старые книги — мою библиотеку, он сказал, что «лучше сжечь все», чем отдать это мне. Я перестала понимать его.

Улегшись спать в кабинете Володи на диване, я ворочалась всю ночь. Сердце стучало, я чувствовала себя нехорошо в Москве и не могла дышать морозным воздухом. На следующий день был большой мороз и стекла покрылись инеем. Я так всегда любила зимнюю, солнечную, сверкающую инеем Москву, но сейчас было не до того. После вчерашнего разговора с важным лицом из КГБ я раздумывала о новой идее.

14
ПИСЬМО АМЕРИКАНСКОГО КОНСУЛА

После того как я разослала друзьям рождественские открытки с сообщением нашего адреса, в Грузию к нам начала поступать корреспонденция из Англии и даже из Америки. Шла она подолгу, но все-таки доходила. Часть корреспонденции шла через посольство СССР в США, а также через посольство СССР в Англии.

Но в пачке писем от адвоката из Принстона (относившихся к делам Благотворительного треста в Нью-Джерси), я неожиданно нашла что-то совсем иное: копию письма ко мне от американского консула в Москве. Очевидно, консул потерял всякую надежду передать мне это письмо через советский МИД и решил послать копию таким обходным путем. Не знаю — как это все вышло, но при строжайшей проверке, которой мои письма подвергались, это письмо каким-то чудом не было перехвачено.

Оно было на гербовой бумаге, со всеми печатями и титулами американского консульства в Москве и служило единственной ниточкой контакта с нами, американскими гражданами.

В письме консул еще раз подтверждал, что Ольга и я являемся американскими гражданами до тех пор, пока мы не захотим (если мы захотим) отказаться от него публично и официально в присутствии посла и под присягой. Этого мы, разумеется, не собирались делать.

Это письмо я привезла с собою из Тбилиси в Москву, оно было в моей сумке. Оно могло служить нам официальным пропуском для входа в посольство США. Я знала хорошо, что вход этот охранялся советской милицией и что войти в посольство нам было, в сущности, невозможно. Но, решила я, следует попытаться, чтобы хотя бы сделать таким образом «заявление» или, как теперь говорят, — «послать сигнал».

Мы проехали с Олей на метро к Зоопарку, а оттуда прошли пешком на Садовую, широкую улицу с ревущими автомобилями. Было морозно и солнечно, сердце колотилось, и я молила Бога, чтобы на улице возле посольства нам попался бы кто-нибудь из его служащих: мы легко бы объяснились и смогли бы пройти тогда вместе. Я надеялась также, что посольство наблюдает за своим главным входом через внутренние телекамеры, потому что отчаявшиеся советские граждане нередко приходят сюда, чтобы выразить свои требования и чувства. Однако их всегда встречает

здесь только советская милиция. О, как слепо верят все советские, что, «если только сказать американцам всю правду», они что-то предпримут… У меня после многих лет жизни в США уже не оставалось больше подобных иллюзий.

Увы! Мы только на мгновение задержались перед дверью, просто лишь остановились, как немедленно же нас окружили милиционеры и какие-то в штатском и попросили нас «следовать» за ними. Ольга была в растерянности: она еще такого никогда не испытывала. Только в кино видела.

Нас чрезвычайно вежливо проводили в дощатую будку для постовых, находившуюся тут же рядом со зданием посольства. («Неужели они не наблюдают из окон, что происходит возле входа?» — подумала я). Весьма вежливый офицер милиции спросил меня, в чем дело.

«Мы — американские граждане, — сказала я на своем чистом русском языке, и брови офицера поехали вверх. — Нам нужно видеть американского консула. Вот — видите? У нас есть от него письмо, и он желает нас видеть».

Он взял письмо, как берут бомбу и, посмотрев на него, вышел куда-то, забрав его с собой. Мы сидели довольно долго. В будке было холодно, только крохотная электрическая печурка была в углу. Оля моя была подавлена — а я уверяла ее, что все будет хорошо, будучи сама не очень в этом уверена.

Офицер вернулся и попросил у нас наши американские паспорта. «Они находятся там, в здании, у консула, — сказала я решительно. — Нам нужно его видеть!»

Тогда он потребовал у нас какое бы то ни было удостоверение личности, и мне пришлось вытащить мой новый советский паспорт, в который была занесена также моя дочь, малолетняя гражданка «Ольга Вильямовна Питерс». Офицер посмотрел на нас с выражением лица, обозначавшим примерно: «какие вы, к дьяволу, американцы?» Но он ничего не сказал.

Затем вошел другой офицер, рангом выше, и сказал, что скоро прибудет кто-то еще более высокого ранга, — надо подождать. «Где наше письмо? — спросила я. — Можете вы известить консула, что нам нужно его видеть?»

«Давайте подождем», — ответил он. По его понятиям советским гражданам не полагалось проходить в посольство Америки. Он этого не мог позволить. Приедет начальство — разберется.

И мы просидели там около двух часов, стуча подмерзающими ногами. Небольшое радио в углу будки начало тем временем передавать из Кремля открытие XXVII съезда партии. А я совсем и забыла об этом! «Тем лучше, — подумала я, — значит, мы

устроили нечто вроде демонстрации в день открытия съезда! Неплохо. Я этого так даже не планировала. Тем больше внимания мы привлечем к моему письму Горбачеву». И хотя Оля смотрела на меня злыми глазами, я была уверена, что мы сделали хороший ход, придя именно сегодня.

* * *

Несколькими днями перед этим, в воскресенье, я решила пойти в Церковь Ризоположения, где я крестилась в 1962 году. Мне так хотелось увидеть ее снова. Прекрасное «русское барокко», красного цвета с белой отделкой, с синими куполами, усеянными звездами. Церковь выглядела теперь свежевыкрашенной и праздничной. Вокруг нее вырос новый город… Двадцать четыре года тому назад здесь было больше деревьев, и трамвай огибал угол площади. Сейчас же все было застроено современными квартирными блоками почти вплотную к церкви.

Не без волнения вошла я внутрь. Шла литургия. Народу было полным-полно, много молодежи. Тогда здесь было куда меньше молившихся и как-то темно было. Сейчас — праздничное настроение, какая-то радость и ликование поразили меня. Я невольно вспоминала Отца Николая Александровича Голубцова, мою крестную Лидию и весь тот майский день, когда я пришла сюда…

Какой круг, однако, проделала я за все эти прошедшие годы… Отсюда началось мое полное перерождение и превращение в иного человека. Что ж, замкнулся ли круг на этом возвращении? Такого чувства я в себе не находила. Скорее — в путь, в путь снова — вот что вошло мне в сердце здесь. Мне было радостно и хорошо. Ни печалей, ни страхов, ни сомнений. Продолжай путь, странница. Путь твой еще не окончен, рано на покой захотела. «И вечный бой. Покой нам только снится» — сказал Блок, и как это верно.

Андрей Синявский, крестившийся тут же незадолго до меня, теперь живет с семьей во Франции. А ты что тут делаешь?..

Странно было стоять здесь опять, но так хорошо, так нужно. Я купила советского изделия дешевую иконку Спасителя и маленький нательный крестик. А уходя уже, обернулась и долго смотрела на небольшую пристройку, где всегда крестили взрослых. Хотелось погладить эти стены, они казались теплыми, несмотря на морозный февральский день. Отец Николай Голубцов славился тем, что приобщал к церкви и вере взрослых: открывал

им двери в новую жизнь. Это произошло и со мной. Сколько еще прошло через эти вот воротца ограды, выходя в мир измененными, ставшими частицей тела Христова! Сотни? Тысячи? С шестнадцатого века стоит здесь эта церковь, заложенная на месте, где послы из далекой христианской Грузии передали дары Москве: ризу Господню. Она находится под алтарем и сейчас. А вокруг тогда были поля и леса, а невдалеке — Донской монастырь. Грузия была тогда еще независимым царством, тянувшимся к России в силу единства православной веры.

«У грузин и армян необыкновенно сильная вера, — говорил мне отец Николай Голубцов. — Это оттого, что они живут там, где Господь сотворил первого человека…» Я никогда не забывала этих слов, сказанных мне в день крещения. Что ж, значит, не зря привели меня мои дороги и в Грузию, чтобы узнать там ее веру. Меня ведь этому не учили! Ведь это все было выброшено «на свалку истории»! А теперь я взяла с собой эти кустарные иконку и крестик, отштампованные, по-видимому, из консервных банок; выглядели они «золотыми», но вложено было тут куда больше, чем злато… (Теперь они приехали вместе со мною в далекий Висконсин, в Америку.) И каким только образом попала я креститься именно в эту церковь, заложенную на дарах из Грузии, — уму непостижимо. Но — таковы пути Господни, неисповедимые.

Просветленная, утешенная и бесстрашная вернулась я в тот день домой, на улицу Горького. Все правильно. Будем продолжать свой путь.

* * *

Думала я об этом и в те часы, что сидели мы с Олей в холодной постовой будке возле посольства США. Ничего мне не было страшно — казалось мне даже, что власти нас боятся, не знают, что с нами делать… Во все долгое время ожидания нас не оставляли одних ни на минуту, но наконец появился человек, одетый в хороший гражданский костюм. Он представился очень вежливо как начальник охраны посольства и предложил отвезти нас домой в своей машине. Так закончился наш визит к американскому консулу. «Они, наверное, никогда не смотрят из окон!» — подумала я, не понимая, почему посольство так равнодушно к своим посетителям?..

Письма американского консула мне не возвратили. По дороге на улицу Горького начальник в штатском сказал нам, что через

несколько часов мы встретимся с товарищем Н. (тем самым из КГБ) и что он сам заедет к нам. Так! Значит, наша «демонстрация» у американского посольства все-таки подействовала! С нами будут разговаривать, и с Олей — тоже. «Товарищ Н. извиняется, — сказали мне, — что он не может быть раньше, так как он сейчас на съезде в Кремле». Прекрасно! Значит, мы его там потревожили. Значит, никто другой нами не занимается в этих обстоятельствах, кроме КГБ. Опять к нему. Ну что ж, ничего не поделаешь.

Дома мы быстро закусили и ничего не сказали Володе и Свете, чтобы не напугать их. Просто вышли вниз, к магазину «Армения» и там нас уже ждал товарищ Н. в своей элегантной дубленке. Он был чрезвычайно любезен с Олей, хвалил ее русский язык и шутил насчет ее короткой дубленой курточки: «Оставайтесь в школе здесь, это бесплатно; зато купите себе настоящее длинное меховое пальто!» На что Оля ответила, что «нет, я лучше буду платить за мою частную школу».

На месте встречи нас ожидали также наши двое патронов из МИДа, заметно встревоженные. Посещение иностранного посольства — это по их части. Все они были просто шокированы нашим намерением пройти к консулу США. «Но у нас есть право видеть его. Наши паспорта там, в консульстве. И он сам в письме подтвердил приглашение», — сказала я возможно проще и наивнее, как будто все это совсем обычное дело. Так оно и должно было бы быть!

«Но каким образом вы получили это письмо?» — спросили меня мидовцы. — «Оно было переслано мне вместе с другой корреспонденцией от адвоката в Нью-Джерси через посольскую почту в Вашингтоне». — «Этого не может быть! Это невозможно!» — воскликнули они в один голос, стараясь оправдать своих работников в советском посольстве в Вашингтоне, недостаточно проверивших мою почту…

Я рассмеялась. «Однако письмо прибыло именно этим путем».

Но товарищ Н. не был особенно озабочен письмом, однако к нашей попытке пройти в консульство, отнесся серьезно. «Мы советуем вам больше не повторять подобных попыток, — сказал он так вежливо, как это только было возможно. — Когда вы возвращаетесь в Тбилиси?» — «У нас билеты на завтра». — «Очень хорошо. Уезжайте». — «Но я до сих пор не получила ответа на мой запрос! Я тоже хочу выехать вместе с моей дочерью. Я писала к Генеральному секретарю об этом, но не получила ответа».

Они все трое были очень терпеливы, но игнорировали мои слова. Они болтали с Олей, наслаждаясь ее способностью так быстро освоить разговор по-русски. Она долго объясняла им,

почему ей необходимо вернуться в ее школу квакеров, и, действительно, это была поразительно хорошая речь на русском языке. Они просто сидели и слушали с нескрываемой симпатией. Всего лишь за год с небольшим! «Ее преподавательница русского языка в Тбилиси была очень сильным методистом», — сказала я. Они не ответили. Разговор уже был закончен. Ответа я не получила.

«Я буду звонить вам из Тбилиси», — сказала я, глядя на их деревянные лица. Они были очень довольны, что мы уезжали отсюда завтра же. Туда, туда, за Кавказский хребет.

15
ПРОЩАНИЕ С ГРУЗИЕЙ

Мы снова в нашей квартире на окраине Тбилиси, и Ольга опять сидит за уроками русского и грузинского языков. Снова ходит в манеж, ездит на лошади с Зурабом и поет за пианино с Лейлой. У меня перебои с сердцем, я набрала вес (со всеми этими угощениями!), и мне тяжко на душе от ожидания, в котором я не вижу пока что никаких надежд. Согласиться на предложение, чтобы Оля училась в Англии, но «возвращалась домой в СССР» на каникулы, где я должна ее ждать — да еще живя в Москве — я не могу.

В день, когда мне стукнуло шестьдесят, я печально сидела дома, кляня себя за опрометчивое возвращение на родину. Праздновать мне не хотелось, но позвонили грузинские друзья и позвали к ним в гости. А что может быть лучше грузинской компании в день рождения?

Там стол всегда накрыт. Хозяева, брат и сестра, оба работники театра — преподаватель и режиссер — пригласили друзей, киноактрису с мужем и Олиных учителей грузинского языка, мужа и жену. Еда была, как всегда, изысканная, чудесная — овощи, мясо, подливки, закуски, салаты — все это сдобрено легким, золотистым вином. Водку здесь никто не пьет, это там, на севере, этим занимаются дикари, «чукчи».

Потом начали петь под гитару, под рояль, дуэтом, трио — полились рекой нескончаемые мелодии меланхолических песен о любви, о расставании, о смерти, о тоске, о прекрасных глазах… Вечные темы, вечная красота. Грузинские напевы печальны, меланхолия разлита в старинных мелодиях, журчащих одна за другой, как ручей. Ольга тоже аккомпанировала на пианино и пела вместе с ними так красиво, так вдохновенно. Никогда не забуду этого дня рождения, этого неожиданного подарка от друзей. Все забывается тут, ни о чем не хочешь думать. Мы — друзья, не правда ли? А об остальном можно забыть часа на два. И что может быть важнее в жизни, чем такие песни, такие вечера?

Я ничего не говорила своим друзьям о том, что произошло в Москве. Не говорила им о моем запросе к Горбачеву. Зачем делать их «соучастниками?» Они только станут волноваться и беспокоиться. Пусть еще будут такие прекрасные вечера, как этот сегодня, когда просто можно наслаждаться каждой минутой. Пока у меня еще есть эти минуты… Неизбежность — хотя еще и не определившаяся — уже стояла в воздухе. Они этого не знают.

Каким-то чудом мне удалось в эти дни позвонить в Англию и в США для двух крайне важных разговоров. Я даже спросила телефонистку — почему так легко получить из Тбилиси международный разговор? Телефоны в Тбилиси отвратительные, дозвониться на соседнюю улицу часто невозможно. «А потому, что от нас очень редко звонят за границу, в капстраны, — ответила весело телефонистка, — особенно в Америку!»

Директор Олиной школы в Англии подтвердил, что ее примут снова безо всяких условий, в любой момент. «Она — наша! — сказал он (как когда-то говорили о ней в католической школе Стюарт в Принстоне). — Пришлите мне бумагу с просьбой о ее принятии по возвращении, а остальное мы сделаем, форму и все». Это было просто чудо. Я позвонила к нему домой, и его реакция была искренней и немедленной. «Пусть приезжает не позже 16 апреля — это начало нового триместра». Так, значит, нужно будет собрать ее и устроить, чтобы она не пропустила эту дату.

Олин дядюшка, сенатор Сэм Хайакава, не удивился, услышав мой голос. Это была тоже удача, что я застала его дома. Я быстро объяснила ему, что нам не удалось пройти к консулу, но что у меня истек срок американского паспорта и я должна буду получить новый. И что я прилагаю все усилия, чтобы выехать. А Оля возвращается в школу в Англии — это уже почти разрешено. Он был очень рад новостям и сказал, что немедленно же свяжется с Госдепартаментом и передаст им, чтобы консул постарался увидеть меня в Москве. «Ах, Дон! — сказала я (так все называли его дома), — подумайте только, как я влипла!» Он засмеялся своим мягким смехом и сказал: «Ничего, все будет хорошо».

Я положила трубку у себя в Тбилиси и подумала, что это было невероятно. В Москве мы не смогли пройти к консулу, а из Тбилиси я просто так звоню в Сан-Франциско домой к сенатору от штата Калифорния! Олины дядя и тетя Хайакава беспокоились, конечно, прежде всего об Олиной судьбе. Но новость, что она вернется в школу в Англию, была встречена с восторгом. Я же решила, что надо сообщить им эту новость как можно скорее, — и сделала это, — так как тогда она может попасть в газеты и советским уже невозможно будет отказаться от своего слова.

Несмотря на эти два утешительных телефонных разговора, я чувствовала себя физически отвратительно от перенапряжения, волнения, а главное — от чувства глубочайшего недовольства самой собой: как это я попала во всю эту кутерьму!.. Давление у меня было повышено, сердце трепыхалось и сбивалось с ритма, и прибавленный вес только мешал мне — трудно было даже пойти погулять. Никаких диет, никакого «движения за здоровье и здоровую пищу» здесь не было. Мясо, масло, кофе, вино, сахар,

соль — все это здесь поглощалось в не ограниченных ничем количествах, — как и все это здесь делали. Выделяться, жить как-то иначе, чем живут, никогда не было принято в СССР: живешь, как все, стараешься не отличаться. Ото всей этой обильной еды спасения не было. Мы старались с Олей ходить почаще на очень дорогой рынок, где была уйма свежих овощей и фруктов, и готовить легкую еду. Но все равно — нас приглашали, нас кормили, соседи нам приносили еду домой — неслыханные пирожные, свежевыпеченный теплый хлеб поутру… Не принять нельзя. Обидишь.

* * *

Несколько раз я попыталась позвонить в Москву в кабинет к товарищу Н., но там никогда никто не отвечал. Мидовские наши покровители ничего не могли мне сказать в отношении моего выезда, да они и не решали этого вопроса. Я знала, что Н. знает больше, чем они, и эта зависимость снова от КГБ угнетала меня больше всего… Воскресали все старые худшие времена, поднадзорная жизнь в Кремле — все, о чем я уже давно забыла. Ничего не изменилось — вот ужасный вывод, который я сделала для себя, — ничего. Только вывески, лозунги, имена. Как сказал когда-то Евтушенко -

Пришли другие времена
Взошли иные имена.

Но в сущности-то ничего, ничего не изменилось.

В этом мрачном настроении в середине марта мы стали снова собираться в Москву, чтобы там наконец выяснить все в точности о моем разрешении на выезд, а также, чтобы отправить Олю вовремя в Англию: к 16 апреля. Мне необходимо было встретиться с кем-то из консульства США, чтобы получить новый паспорт США взамен истекшего. И 14 марта я написала Горбачеву второе письмо, вложила туда также наши официальные заявления в Верховный Совет о выходе из гражданства СССР и отправила все это в Москву через курьера ЦК Грузии — благо они не ведали, что было в письме…

Вскоре позвонил наш мидовский патрон и сказал, что «надо будет оформлять Ольгу к отъезду в Англию. Вам помогут это сделать мидовцы Грузии». Обо мне — ни слова.

Оформив все нужные для Ольги бумаги (она ехала в Англию с советским паспортом — но я решила не спорить сейчас об

этом), начав укладывать ее чемоданы, я вдруг почувствовала, что мне нехорошо. Дежурная докторша в поликлинике нашла у меня повышенное давление и дала мне пилюльки — три раза в день. Я никогда таких не видела, но приняла днем и к вечеру… Все еще собирая чемоданы.

Потом я почувствовала, что мне трудно дышать, и отправилась рано в постель. В середине ночи я проснулась от боли в груди, не в состоянии дышать, и напугалась не на шутку: болеть было некогда, нам нужно было быть в Москве, в гостинице «Советская», 20 марта, так как я уже передавала Олиной тетке Мардж, что мы в этот день там будем. Это — чтобы нас могли там разыскать консульские работники.

Однако дышать было невозможно. Пришлось разбудить Олю, перепугав ее. Она побежала к соседям вызывать «неотложку»: по телефону надо говорить только по-грузински, так как русских вообще здесь не слушают. Оли долго не было, так как сначала ей не открывали двери, а потом трудно было дозвониться… Я думала, что задохнусь совсем.

Наконец, появилась Оля с соседкой, а через некоторое время и две заспанные толстые докторши. Они мне что-то дали, что не возымело никакого эффекта. Мне становилось все хуже, подкатывала дурнота, я боялась потерять сознание: тогда — все! Вызвали еще какую-то «скорую помощь», и появились два молодых мальчика, врачи. Эти быстро установили, что пульса уже не прощупать, а давление упало к нулю. В эти моменты я думала: вот оно. Рубеж. Так легко перешагнуть.

Мне быстро сделали укол кофеина с чем-то еще, но результатов никаких. Молодой врач смотрел на меня с ужасом, а мне как-то становилось все равно… Еще один укол. Вот наконец-то можно вздохнуть…

Я стояла на коленях на полу, возле кровати, так как лечь в постель я боялась: мне казалось, что там я немедленно же умру. Умирать совсем не хотелось. Хотелось выкарабкаться. «У нас уже билеты на завтра…» — слабо сказала я.

Молодой врач улыбнулся моей глупости. Все сидели вокруг, перепуганные не на шутку. Как это легко — перешагнуть через порог… Я почти что была там. Как это просто. Какой-то кофеин все изменил. Вульгарный материализм. И никаких высоких слов или там эмоций.

Начав дышать нормально, я почувствовала, что не только «лететь завтра же», но даже ходить по комнате я сейчас не могу. Под утро меня свезли в больницу, где нашли, что был серьезный сердечный спазм, но ничего более. Проспав допоздна на следующий день и придя в себя от всех лекарств, я с удивлением

встретила перепуганных друзей, а особенно Олю.

«Ты была вся синяя, — говорила она. — Ужас какой! Я думала — ты умираешь». Я думала то же самое в те минуты, но решила ее не пугать. За друзьями последовали врачи, а потом — и местное начальство.

Оказывается, уже доложили в Москву, а оттуда строго приказали: приезд отложить, держать в больнице. И вот мне уже предлагают «полное и серьезное обследование», недельки так на две-три… «Нет, что вы! Нам надо ехать», — трепыхаюсь я, но чувствую, что попала, как муха, в паутину, из которой так легко не выбраться.

* * *

Мы уже пропустили 20 марта, день, когда я обещала быть в гостинице «Советская» для встречи с кем-нибудь из консульства США. Теперь я уже не знаю, когда мы попадем туда, врачи преувеличивают мои хвори, так как им велено меня тут держать. Министр иностранных дел Грузии звонит прямо главврачу больницы, передавая ему, что думают в Москве. Мое здоровье не предмет заботы: надо, чтобы я не поехала в Москву!

Однако хороший друг передает мне по секрету, что он справлялся у своего хорошего друга — старшего кардиолога больницы — и тот сказал, что у меня нет ничего серьезного. Просто спазм. Это от нервного перенапряжения. Через день после этого обычно идут домой. Спасибо, друг! С друзьями тут не пропадешь.

Вдруг в палате раздается телефонный звонок — от сына. Я не слышала его уже более года. Значит, доложили ему, что мамаша при смерти… Я вдруг страшно озлобляюсь от этой его близости к начальникам и спрашиваю: «Ты что, хоронить меня собрался? Еще не время». Он молчит. На этом наш разговор кончается. Я уже не верю ни единому его слову. Что он думает? Что его беспокоит? Теперь еще его напустят на меня, чтобы задержал с отъездом… Ну, нет. Использовали его раз, чтобы затащить меня в СССР, но больше не выйдет. Он и сам это понимает — потому больше и не звонит.

Зная хорошо, что означает здравоохранение в СССР и как вас могут «залечить» и «долечить до конца», я уже думаю только о том, как бы мне выбраться из больницы. Лекарств дают невероятное количество, голова от них дурная, и в желудке какая-то смесь всякой химии. Бесконечные консилиумы, после которых предлагают мне всякие исследования и опыты, — надо-де

обследовать все досконально. Я сопротивляюсь, но здесь у меня нет поддержки. Я обещаю, что по возвращении из Москвы я вернусь сюда на обследование… Мне никто не верит. И у меня нет сил, чтобы их убеждать.

Между тем в Тбилиси — весна. На столике у меня фиалки, темно-фиолетовые букетики, которые продаются сейчас тут на улицах. Как любят цветы в Грузии! Цветы всегда в руках у девушек, у молодых людей, у взрослых, у стариков. Я знаю — что на улицах весна, и мне так хочется вон отсюда!

…В воскресенье врачей нет, только дежурные. Я выхожу в коридор погулять, в халате, и озираюсь по сторонам. Народу мало. Сестер мало. Созревает безумный план… Погодите вы. Сердце у меня еще работает!

Улыбка может сдвинуть горы в этой стране. Я одеваюсь в свое платье и пальто, беру свою сумку и выхожу в коридор, как ни в чем не бывало. Я иду домой — и все полагают, что так надо. Главное — улыбаться, что я и делаю. Никто не задает вопросов, только улыбаются в ответ — сестры, нянечки, пациенты в халатах. Ничего особенного. Человека отпустили домой.

Старик-швейцар внизу у входа посмотрел на меня и получил самую лучшую из улыбок. Он заулыбался в ответ сквозь свои белые, роскошные, пушистые усы и распахнул передо мной обе половины тяжелых дверей. Я вышла, не помня себя от счастья. За мной никто не бежит. Все нормально. Надо идти спокойно, как будто бы так и надо. Так я и делаю, пересекая двор с деревьями, уже источающими ароматы весны. Ноги у меня подкашиваются от волнения, от всего перенесенного и от множества лекарств, дурманящих голову. Ничего — троллейбус за углом — и вот я уже в нем, и мы поехали по направлению к нашей окраине… Вскоре я дома, счастливая, как жаворонок, и звоню Оле, которая у своих друзей-учителей. Они все недоумевают, смеются и поздравляют меня с избавлением.

Потом я звоню одной очень хорошей приятельнице, преподавательнице театрального института, и изображаю ей в лицах, как я выбралась… Она заливается смехом, долго не может остановиться, потом говорит: «Мо-ло-дец!» А это — лучшая похвала джигиту.

* * *

Олина тетка Мардж Хайакава позвонила узнать, что случилось: в условленный день 20 марта представители американского консульства в Москве не нашли нас в гостинице

«Советская». Пришлось объяснить и уже точно теперь пообещать быть там неделей позже, 27 марта.

Теперь уж ничто не могло остановить нас. Олины документы на выезд в Англию были оформлены и посланы в Москву, в МИД. Она едет как «советская школьница», ее встретят из советского посольства в Лондоне и на следующий день отвезут ее в школу, в Саффрон Волден. Она путешествует как Особо Важное Лицо.

Со мной же — ничего не ясно. Я должна прибыть в Москву сама и пробивать все преграды там, чтобы также получить разрешение на выезд. Слава Богу — товарищ Н. из КГБ больше не звонит: может быть, это знак того, что наконец мой вопрос будет решен Горбачевым?

В СССР, к сожалению, еще не существует агентств по перевозке и сохранению имущества. Не вызовешь, не дашь адреса, не скажешь, когда и куда. Все надо делать самим. Поэтому в Тбилиси мы знали точно только то, что Ольга уедет, и, как мы планировали, — уже не вернется в СССР, а поедет летом на каникулы в США, куда-либо в Висконсин (куда и я думала направить свои стопы, если выпустят). Но я не знала, собирать ли мне также и свои вещи — бумаги, книги, фотографии. Мои кузены дали мне множество старых семейных фотографий. Я собрала для себя только необходимое, на случай, если выпустят и меня тоже. Но многое осталось в Тбилиси.

Квартира оставлена в таком виде, как была, когда мы жили там. Невозможно ничего решить, пока у меня нет точного ответа о моем выезде. Уж конечно, переезжать жить в Москву, как советовал товарищ Н., — даже в худшем случае отказа — я не собиралась. Конфликт с правительством? Или с КГБ? Второе — куда опаснее. «Попомни братца, вспомни его и его судьбу, — говорила я себе. — Нет, нет, уж требуй, стучи — и отворят. И — выпорхни, пока они еще не опомнились, вслед за Олей. Она и ведет меня вон отсюда».

А Оля теперь прощается со своими многочисленными друзьями и плачет. Кроме школы, стоявшей над ней, как топор, готовый упасть, вся ее жизнь здесь в Грузии была праздником дружбы и любви, — так она считает, сжимая в руках маленькую пекинскую собачку, еще щенка, подаренную ей ее учительницей грузинского языка, которая тоже вся в слезах. Как и переводчица Наташа, как и тренер верховой езды Зураб, как и Лейла, и Леван, и Котэ, и Георгий, и все остальные…

Они не знают, как разрывается мое сердце, оставляя эту землю. В последние весенние дни в Тбилиси я ходила снова и снова по улицам, поднималась на Давидовскую гору над городом, где похоронена моя бабушка, сидела возле ее могилы — где такой

мир и тишина… Бабка моя сумела прожить свою бедную жизнь достойно до самого конца. Почему же я не могу найти свой путь? Путь веры, каким был и ее, простой труженицы, вдовы, матери, скромной, необразованной старухи. Как завидую я ей, стоя там, на горе, глядя вниз на город, с которым связаны судьбы всей моей семьи, а теперь и младшей дочери-американки… Что за круги мы совершаем, как Пер Гюнт, возвращаясь назад к любви… Так почему же мы бежим отсюда?

В поэзии — найдешь все ответы. И хороший поэт, мой старый друг Д. Самойлов, написал когда-то:

Твоя высокая обида,
Моя высокая беда. Аленушка!
Попомни братца.
Не возвращайся. Никогда.

* * *

Я ничего не говорю католикосу о нашем отъезде, чтобы не огорчать его. Он был мудрее всех, потому что знал, как мне следует жить. «Возьмите себе простую работу, но с духовным назначением. В больнице, с несчастными, которым нужно внимание и любовь. Отдайте им себя, дайте им любовь. Это вы можете! В этом сейчас весь смысл. Вы не преуспеете ни на каком ином поприще, потому что все иное — суета и не нужно вам. У вас было так много суеты. Теперь — живите духовно».

Это был, я полагаю, наилучший совет мне за многие годы. Не знаю, стало ли бы возможным осуществить это под надзором ЦК КПСС как Грузии, так и Москвы, и московского КГБ в придачу. Но идея была замечательной, и, может быть, когда-нибудь я смогу осуществить давнюю мечту: уйти от мира совсем, молиться, помогать больным и умирающим и хоть к концу жизни жить так, чтобы не было за себя стыдно. Возможно, что «за хребтом Кавказа» была такая мимолетная возможность, но насколько она была бы осуществима на практике — в советской практике, — трудно сказать. Скорее всего, осуществимость ее была маловероятной, даже при поддержке самого католикоса Грузии.

Я не хотела сделать его «соучастником» моего отъезда, потому что он таковым никак не являлся, а потому мы ничего ему не говорили. Только пошли в последний раз на службу в Сиони, простояли три часа на литургии, потом подошли — вместе со всей медленно движущейся толпой — под благословение.

Поцеловали крест, получили помазание мирром на лбу, а потом и святой водой нас окропили, да как следует. Олю патриарх узнал и спросил ее по-грузински, «как дела», и она ответила ему по-грузински, и он ласково потрепал ее рукой по волосам.

Не судьба, не судьба жить так, как надо бы. А кому — судьба? Скольким это удается? Только маленькой горстке избранных. Я не в их числе.

16
МОСКВА РЕШАЕТ

И вот мы снова в гостинице «Советская» на Ленинградском шоссе, рядом с бывшим «Яром» — ныне Государственным цыганским театром СССР. Прошло восемнадцать месяцев с тех пор, как мы приехали сюда из аэропорта Шереметьево, и я была тогда полна надежд на воссоединение с семьей, а Оля, наоборот, с ужасом думала о предстоящем. Теперь — я с ужасом раздумываю, как бы мне поскорее выбраться отсюда, а она все еще в слезах от разлуки с грузинскими друзьями… И ничего, на что я надеялась, ничего, что я планировала, не осуществилось…

В гостинице нас встретили, как старых знакомых. Швейцар у двери широко улыбался нам, регистраторша — тоже. Тогда у нас был бесплатный двухкомнатный номер люкс. Теперь мы заплатили вперед за самый простой номер из одной комнаты с двумя кроватями. Но как старым знакомым нам позволили держать в комнате нашу пекинскую собачку Маку — неслыханное нарушение правил, которые гласили: «без животных». Нашу пекинку все стремились погладить, она была еще очень маленькая, размером с котенка. Мы кормили ее остатками еды, приносимой нам в номер, а «гулять» она ходила на кафельном полу в ванной, на газетку. Так прожили мы здесь еще двадцать долгих и нелегких дней.

По приезде я сейчас же пошла вниз, на почту и послала телеграмму: КРЕМЛЬ, ГОРБАЧЕВУ. С уведомлением о вручении. Я коротко спрашивала, получены ли мои письма и каков ответ. Потом отправилась в экспедицию Верховного Совета, возле Кремля, и отдала там наши с Олей заявления о выходе из советского гражданства.

На следующий день мне вручили квитанцию: «Телеграмма вручена адресату». Ну-с, один барьер взят. Посмотрим, что будет.

* * *

На следующий день к нам постучали в дверь и безо всякого предупреждения появилась элегантная молодая американка — представитель консульства США. Она, смеясь, рассказала, что никому не сказала внизу, куда идет, но что в гостинице остановились в это время несколько американцев — из числа «борцов за мир», и она сделала вид, что идет к ним. Потом она

должна была догадаться, где находится наш номер, и это ей удалось! Мы смеялись, она гладила собачку — сказала, что любит животных, — и вдруг стало так хорошо, так дома…

Мы сели, чтобы выяснить, что мне нужно для получения нового паспорта вместо истекшего год назад, и она удивилась, что у меня сохранилась самая важная из всех бумаг: удостоверение из Федерального суда в Ньюарке, в Нью-Джерси, где сообщался факт моей натурализации, со всеми номерами, датами и формальностями. Мы заполнили все необходимые формы.

Я спросила ее, считает ли она, что я могу вернуться в США, учитывая всю ужасную прессу, писавшую обо мне небылицы за прошедший год. В особенности, статья старого моего недоброжелателя Патриции Блейк в журнале «Тайм». Но она рассмеялась, заметив, что наше возвращение создаст нам совсем иную — хорошую — прессу и что, безусловно, я не должна сомневаться возвращаться ли мне в США.

Все-таки я спросила, есть ли возможность для меня остаться во французской части Швейцарии, где я была гостьей в 1967 году, и до сих пор никак не могла забыть монастырь Святого Посещения в Фрибурге. Ах, как бы мне хотелось остаться там навсегда и избежать новых встреч с прессой в США… Она сказала, что может сделать запрос об этом в швейцарском посольстве в Москве. Я предупредила ее, однако, что у меня еще нет разрешения на выезд из СССР. «Мы сделаем все, чтобы помочь вам, — приветливо сказала она уходя. — Приготовьте новую фотографию для вашего паспорта».

После ее ухода я сидела тихо, не веря самой себе. Оля заметно повеселела от этой встречи: несколько американских шуток так ободрили ее. И я тоже почувствовала вдруг теплый ветерок оттуда, из-за океана, где прожила почти двадцать лет… Наша посетительница оставила в комнате запах хороших духов и ту несравнимую атмосферу, которую несут с собой только американские женщины определенного социального уровня: с достатком, хорошо, но неброско одетые, получившие образование в лучших колледжах, такие вымытые, такие жизнерадостные, такие распорядительные и деловые. Как давно мы не встречались с ними! Мы сидели с Олей, думая об одном и том же.

В Москве есть моментальные фотографии для паспортов для выезда за границу, но я не хотела идти в центральные районы, где они расположены. В маленьком фотоателье, где никто не интересовался моим именем (я дала вымышленное) мне обещали «через неделю» шесть черно-белых фотографий. Оставалось ждать.

* * *

Затем, неожиданно, как и все остальное, позвонил наш мидовский опекун. Он ледяным тоном объявил мне, что моя просьба «была удовлетворена» и что я могу собираться, чтобы «также выехать за рубеж».

«Когда вы намереваетесь выехать? — спросил он. — Ваше оформление займет некоторое время». — «Спасибо, но я хочу выехать с моим американским паспортом. — На другом конце телефонной линии было гробовое молчание в ответ. — Я бы хотела выехать на следующий же день после того, как уедет моя дочь», — заторопилась я, так как мне казалось, что он сейчас повесит трубку.

Наконец он сказал после паузы: «Хорошо. Но до этого вас примут в Центральном Комитете».

Я полагала, что наконец встречусь с Горбачевым. Он еще не зарекомендовал себя в ту пору как прогрессивный реформатор советского общества, но все же считался либералом, «подающим большие надежды». Однако, поскольку партия, по-видимому, продолжала считать, что я являюсь представителем своего отца (несмотря на всю мою совершенно отличную от него жизнь), то меня принимал теперь лидер консерваторов, товарищ Лигачев.

Шофер отвез меня на Старую площадь, как это было в давние, давние дни, когда перед отъездом в Индию меня здесь принимал другой лидер консерваторов, Суслов. Господи, как ничего, ничего не изменилось! Почему мне никогда не везет и не случается разговаривать с более прогрессивными лидерами? Да, все потому же, потому же. С Милованом Джиласом я встретилась только в Принстоне, в Америке, и то случайно.

…Как и двадцать лет тому назад (в 1966 году) обстановка была безрадостная, меня подозревали в наихудшем, и мне снова становилось нехорошо от этих стен, этих казенных коридоров, устланных ковровыми дорожками «кремлевского стиля». Ах, эти знакомые с детства «коридоры власти»… И как тогда — двадцать лет тому назад — нарастало с каждым моментом желание бежать и не видеть ничего этого больше никогда…

В каком плохом фильме, в какой ученической пьесе можно было бы так подогнать все факты и события, чтобы они повторились бы в последнем акте, как и в первом? Критики сказали бы: так не бывает! Но в моей жизни какой-то драматург-шутник все подтасовал так, чтобы я двигалась по сцене, как по начерченным мелом линиям: снова, как и в первом акте, и вновь — теперь. Ну что ж, я знаю свою роль давно. А они — знают свою. Ничего не изменилось.

Товарищ Лигачев был коренастым, с простым лицом и хитрыми мужицкими глазами того серого цвета, что выражает из всей возможной гаммы человеческих чувств только непреклонность. Как и Михаилу Суслову тогда, ему было сейчас трудно со мной разговаривать, трудно сдерживать свое убеждение, что выехать из СССР советский человек может только в силу помешательства. Люди его круга так и полагают. Ему нужно было услышать от меня — почему. Я повторила опять все, что уже написала Горбачеву, а секретарь записывал, стенографировал наш разговор.

«Ну что ж, — сказал он наконец, — Родина без вас проживет. А вот как вы проживете без Родины?»

Лигачев был родом из Сибири, и мне очень хотелось спросить его, почему он покинул свою родную Сибирь и сидит в Москве? Но сейчас было не время и не место для бестактностей. Я проглотила все, и не вступила в споры.

«Так куда же вы едете отсюда?» — спросил он, как будто бы им было это неизвестно. Как можно более безразлично и без нажима я ответила, что: «в Соединенные Штаты. Я жила там много лет». Он молча смотрел на меня в упор. Молчала и я.

«Ну-с, ваш вопрос был разрешен генеральным секретарем, — сказал он наконец. — Он сожалеет, что не смог лично принять вас. Но — ведите себя хорошо!» — вдруг поднял он вверх палец. Это было сказано серьезно и даже с долей угрозы в голосе. Означало это, что мне следует молчать, не высовываться, не писать книг, не выступать с интервью… Исчезнуть, так сказать. Книг они боятся больше всего. Это для них хуже, чем бомбы. Ничего не изменилось, ничего.

По дороге домой я попросила шофера высадить меня на улице Герцена и пошла пешком. Это была моя университетская улица, связанная с памятью о молодости. Мы тогда ходили в консерваторию после занятий — всего лишь в нескольких кварталах от старого, прекрасного построенного Казаковым здания университета. Теперь же эту улицу не узнать: все перестраивают, уничтожают здания старой Москвы, говорящие о ее истории, строят какую-то пакость… Меняют фасады, подмазывают и подкрашивают, чтобы выглядело «модерно». Но по существу-то, ни кока-кола, ни синие джинсы, ни сникерсы, ни курточки не могут спрятать ослиные уши партии и КГБ, торчащие отовсюду. Туристам показывают «прелестные церквушки восемнадцатого века», а соборы в Кремле молчат, мертвые, парализованные, страшные в своем молчании. Молчание это осуждает куда громче, чем самые страстные речи о перестройке.

Мне хотелось уехать отсюда, ничто меня не держало. Ни

старые улицы школьных и университетских лет, ни самый Кремль, где прошло мое детство. Я даже не ходила туда ни разу. У меня не было здесь никаких приятных воспоминаний. В этом странном подмалеванном под современность городе, с жутким новым Арбатом вместо привычного старого, с перестроенным и перековерканным Кремлем, не было никаких воспоминаний.

«Перепаханное кладбище», — сказал Вячеслав Иванов.

Могил я милых не найду
На перепаханном кладбище.

Строки эти снова и снова приходили в голову в Москве — столице, городе — напоказ, городе, где одурачивают иностранных посетителей, городе без любви и более — без красоты. Над уничтожением красоты древней, вековой Москвы потрудились достаточно, начиная со взрыва Чудова монастыря в Кремле и Храма Христу Спасителю, а потом и пошли, и пошли… Теперь даже новый МХАТ выстроили — какое-то совершенно несуразное палаццо, где не пахнет ни Чеховым, ни Станиславским… Как можно «перестроить» МХАТ? Все можно перестроить, одержимость перестройками так и не прошла за семьдесят лет… Кому придет в голову «перестраивать» Париж? Или Лондон? Если даже каким-то чудом партия коммунистов победит там на выборах и сформирует правительство, разве взорвут Нотр-Дам или Вестминстерское аббатство?

Уедем скоро, слава Богу. Уедем.

17
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

В последние несколько дней мы натыкались на всякие еще препятствия, но эти были уже малыми: все вопросы были разрешены. С трудом удалось передать мои фотографии даме из консульства — теперь ее не пропускали к нам в комнату. Пришлось встретить ее автомобиль на улице и проехать с ней несколько кругов по городу, чтобы поговорить. Зачем ставить эти препятствия? Просто, чтобы сделать людям пакость, потрепать нервы.

Кстати, она сообщает мне, что в Швейцарии мне могут разрешить остановиться только временно. Но — не резидентом. Такой ответ я уже слышала несколько лет тому назад…

МИД заявил, что «наша принципиальная позиция состоит в том, что мы не признаем вашего американского паспорта». Таким образом — я не могу получить визу на выезд. Как же мне получить билет? Сесть в самолет? Отправить мой багаж?

Приходится звонить опять даме из консульства. Она помогает мне получить билет на самолет компании «Свисс-Эйр», летящий в Цюрих, а потом в Чикаго. Я не могу лететь через Лондон, потому что у меня на руках собачка… В Великобританию не позволяют ввозить животных. Мне приятно снова, как и в 1967-ом, воспользоваться швейцарской компанией для моего рокового перелета — опять этот шутник-драматург связывает все узлы вместе… Все идет, как по его плану. Опять «Свисс-Эйр». Мне удается получить телефон директора этой компании в Москве, и я разговариваю с ним по телефону, так как у меня особая проблема. Он понимает, как это путешествовать с собачкой, — «я сам всегда летаю с моим шпицем». Компания «Свисс-Эйр» обещает мне, что я буду держать собачку на коленях, но нести я должна ее в картонке. Картонку мне фирма предоставит.

Мне только не хватает ко всему прочему беспокоиться о том, как везти собачку! Но Ольга оставляет ее со мной. Так что — я должна. У меня нет сил спорить с ней. Я соглашаюсь на все — от слабости, от усталости, от желания поскорее выехать — даже если для этого надо будет лететь с живыми змеями в сумке…

Ольга едет с Володей и Светой к ветеринару, чтобы нашей Маке выдали все удостоверения на выезд. Мака путешествует вполне легально, у нее бумаги на трех языках, на грузинском, на русском, и на английском — в консульстве США «оформили» ее выезд из СССР и въезд в Америку. Я же все еще пытаюсь выяснить

у нашего мидовского покровителя, как мне отправлять багаж без визы? На что он, уже совершенно теряя всякое терпение, рычит: «Мы об этом позаботимся».

Я уеду на следующий же день после Ольги. Это решено.

В Банке внешней торговли, где я была год тому назад (когда сюда перевели наши деньги из Англии), я встречаю все ту же женщину, которая и тогда занималась мною. Она дружелюбна, спрашивает, как у нас дела, и качает головой: «Мне жаль, что у вас все так сложилось. Дети теперь вырастают и отворачиваются от родителей. Помощи от них не жди. Такие времена». Она говорит искренне и приветливо.

Это — тоже новый тип советской работающей женщины. Она хорошо, со вкусом одета, стильно причесана, быстро и деловито отдает распоряжения своим подчиненным и в то же время вполне миловидна и женственна. «Мы работаем с банками Англии все время, — говорит она мне. — Вот с Америкой пока что никаких нет отношений. А вы уверены, что к вам там будут хорошо относиться?» — спрашивает она.

«Все будет хорошо», — говорю я, совсем не уверенная в том, что говорю. Я знаю, что в Америке отрицательная пресса может вас уничтожить. А у меня, по-видимому, была очень отрицательная пресса за время нашего отсутствия. Мы с банковской служащей делаем перевод денег на счет Олиной школы в Эссексе, а также в наш прежний «Мидланд-Бэнк» в Кембридже. Это не вызывает у нее ни удивления, ни возражений. Хорошо видеть эту женщину без предрассудков, мне бесконечно приятна ее симпатия. Она жмет мне руку на прощание и желает всего доброго. Ни ужимок, ни напутствий, ни глупых патриотических лозунгов. Спасибо вам, дорогая.

* * *

Мы с Олей тем временем проводили последние дни в обществе моих двоюродных братьев Аллилуевых. Гриша больше не появлялся. И я не говорила ему о наших сборах. По всей вероятности, он не одобрил бы нашего отъезда. Не говорила я об этом и тем старым друзьям, для которых это было бы только новым ударом.

Один из них, однако, держался совсем иного мнения. Мы учились в школе в одном классе с восьми лет, и с тех пор были друзьями. Потом он пережил трагедию, которая постигла многих: его родители, работники большого издательства, были арестованы. Его воспитала тетка. В школе его перевели в другой

класс. Потом началась война. Мы встретились только в последнем, десятом, классе, он стал неузнаваем внешне, но был все такой же приветливый, начитанный, глубоко интеллигентный молодой человек. В нем никогда не было никаких дурных чувств по отношению ко мне из-за того, что произошло с его семьей. В Москве мои друзья как-то отделяли меня от политики: не я ее делала.

Он появился на моем горизонте вновь, когда нам обоим было уже за тридцать. У него была семья и двое детей, у меня двое детей, и я жила одна. Он приходил и рассказывал о своих детях. У него была дочь Катя, и у меня дочь Катя — одного и того же возраста. Он пришел повидать меня перед моим отъездом в Индию в декабре 1966 года, взял у меня книги об Индии для своей дочери. Мы всегда были откровенны друг с другом, как очень верящие друг другу друзья. Когда мы с Олей только приехали сюда, он пришел в гостиницу — год тому назад. Сейчас он хотел знать, как шли наши дела.

Ему я говорила все. Он был единственным, кто сказал: «Ты всегда была умницей. Я не знаю, как бы ты смогла жить здесь, после того как ты уже привыкла жить там… Я очень рад за тебя, что тебе разрешили выезд». Мне так было хорошо от его теплой похвалы. Я-то знала, что поступаю правильно, но другим здесь это было неясно.

«Моя Катя вышла замуж за шведа, — сказал он. — Она теперь хороший переводчик с английского и шведского. Возьми ее адрес и пиши ей — она ведь тоже Катя, как и твоя».

Я взяла адрес и переписываюсь с Катей, «которая не моя», вот уже два года. Как это хорошо и по-братски. Сколько у меня братьев! Все дружбы, по существу, это братства. Ему было теперь шестьдесят, как и мне, моему однокласснику. А тогда, мальчиком, он был рыжий и веснушчатый, как я, и мы выглядели как близнецы.

Катя его начала с увлечения Индией двадцать лет тому назад. Потом выучила английский и шведский, и сейчас она великолепно устроена в незнакомом ей мире Западной Европы — работает агентом в бюро путешествий. Новое поколение! Наше поколение жило взаперти, Катин отец никогда не был за границей. С точки зрения КГБ — он «невыездной», так как его родители когда-то были арестованы… Ничего, ничего не изменилось. Только когда поставят это советское гестапо на место или упразднят его совсем, тогда можно будет говорит о перестройке всей советской жизни. Только тогда мы в нее поверим, мы, которые выросли среди всевозможных обещаний, но почти что за решеткой. Моего друга не так-то легко одурачить

обещаниями гласности. Он прошел такую школу жизни, что верит только делам, а не словам.

Мы расцеловались по-братски, как всегда, и я долго смотрела ему вслед, пока он шел по длинному гостиничному коридору — высокий, худой, седоголовый. Его одобрение дорого стоило.

Я написала прощальные письма нескольким друзьям в Грузии и в Москве. Идти встречаться не хотелось, начнут уговаривать не уезжать… Не понимают, не знают они, что, раз отведав жизни в совершенно другом мире, уже не можешь притворяться слепым и незнающим. Их жизнь здесь казалась мне теперь такой беспросветной, такой ограниченной, как в темнице.

…Большая компания старых друзей Юрия Андреевича Жданова пригласила меня на обед в прошедшем ноябре. Я их знала всех с той поры, когда он был моим вторым мужем. Как и сам Юрий Андреевич, это были высокоинтеллигентные люди — инженеры, философы, музыканты, театроведы, физики, дипломаты, служившие искренне и верно своей стране. Не из привилегированной верхушки, но из серьезно работающих людей, кто работает много и живет хорошо. Из тех, кто зарабатывает на жизнь, а не делает карьеру в советском обществе, во многом основанном на высоких протекциях. Им была непонятна моя жизнь, моя добровольная «эмиграция», — пожалуй, понятно было только мое возвращение. И они все приветствовали таковое и ожидали от меня ликования, новых планов в работе. В какой работе? Разве мои книги напечатают в СССР? Некоторые из хорошо образованных партийцев прочли мои «Двадцать писем к другу» и даже говорили, что они бы разрешили их напечатать, издать в СССР.

Они даже спорили со мной тогда, старались понять, почему я крестилась и верю в Бога… Это было для них только интеллектуальным обсуждением, дискуссией. Я провела вечер в их компании и вышла в совершенном изнеможении от невидимых барьеров, стоявших между нами: их надо было каждую минуту, с каждой фразой преодолевать. Советская лояльная интеллигенция.

Почему не было барьеров между мной и моим другом одноклассником? Между старым русским интеллигентом Федором Федоровичем Волькенштейном с его кругом — и мной? Я прошагала всю свою жизнь под «далекую музыку иного барабанщика», под другую музыку, чем эти преуспевающие советские интеллигенты. Но моя дочь Катя и мой сын Иосиф теперь в их числе, поэтому и пролег барьер между нами. В этом все дело. Никаких тайн. Моя мама не сделалась преуспевающим инженером текстильной промышленности, как стали ее подруги — Мария Каганович, Екатерина Ворошилова, Мария Андреева. Не

судьба была и мне преуспевать на советском поприще. «Аленушка, попомни братца. Не возвращайся. Никогда».

* * *

Неожиданно позвонил отец Ольги, Вес. Он сказал, что его одолевают репортеры, которым уже как-то стало известно об Олином возвращении в школу в Англии. Он предупреждал, что там в аэропорту ее встретит толпа с телекамерами. Он был теперь необычайно внимателен к ее нуждам — и это было приятно. Лучше поздно, чем никогда. Мне было известно, что миссис Райт умерла прошлой весной, и я полагала, что теперь Вес мог жить так, как ему хотелось, без ее постоянного деспотического нажима. Теперь он, по-видимому, чувствовал себя более свободным в проявлениях заботы о дочери — а также перед публикой. Последнее было важно для него, так как все в Америке делается перед публикой, и «образ», создаваемый для публики, значит немало и в делах бизнеса. Не создашь своего хорошего образа, — не получишь себе хорошего бизнеса. Это я тоже усвоила за двадцать-то лет…

Значит, моей Оле придется постараться перед телекамерами. Это у нее получится прекрасно! Она прирожденная актриса и любит публику. Это в ней американское, калифорнийское.

Внезапно, после этого звонка, начали раздаваться телефонные запросы от многих иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. «Наверное, агентство „Новости“ оповестило их о нашем отъезде», — подумала я. И — с сообщением, где нас найти… Закрытое для прессы советское общество не прочь воспользоваться мировой прессой, когда ему нужно. Это — конечно, «прогресс». Теперь — при Горбачеве — интервьюируют прохожих на улицах, совсем как в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке.

Я подтвердила, что Оля уезжает в Англию, а я в США, но не сказала когда. Мне достаточно было всех этих столпотворений. А для них всех теперь Ольга была любопытнее всего: как перенесла все это приключение «наша дорогая американская девочка»?..

Я позвонила теперь старому знакомому в Висконсине, в том самом Спринг-Грине, где я была замужем шестнадцать лет тому назад, где так полюбила позже бывать Ольга. Он во все предыдущие годы предлагал мне снимать в тех краях на лето небольшой домик на старой, развалившейся ферме. Я сказала, что возвращаюсь в США, и спросила, возможно ли будет снять этот домик на лето, хотя бы на первые месяцы. Он даже не очень

удивился: мы давно хотели почаще бывать в Висконсине, а может быть, даже и переехать туда насовсем — эта идея долго владела мною до нашего отъезда в Англию… Он заверил, что меня встретят в аэропорту Чикаго и что мы с Ольгой сможем провести лето на ферме. «А потом вы сами разберетесь, что вам более подходит», — рассудил он со своей спокойной практичностью жителя Среднего Запада. Во времена, когда мы с Весом владели маленькой фермой в Висконсине, этот человек безуспешно пытался помочь нам в нашем фермерстве. Мой муж и пасынок отвергли тогда его толковые, деловые предложения, и в результате мы прогорели со своими сельскохозяйственными начинаниями… Но он остался моим хорошим другом и постоянно продолжал предлагать мне переехать в эти края.

Но вот, кажется, и наступили подходящие обстоятельства для такой попытки. К тому же, в финансовом отношении я не могла позволить себе ни Принстон в Нью-Джерси, ни Калифорнию. Здесь, на Среднем Западе, в фермерском штате, возле маленького городка Спринг-Грин, где мы давно знали многих, было наилучшее место для нас, чтобы жить просто и попробовать залечить все раны, нанесенные последними годами. После разговора с ним я почти чувствовала, что никаких трудностей более не остается.

«Как раз начнется весна, — сказал он, человек живущий на природе. — Ведь вы никогда еще не видели весны в этих краях?» Ах, вот он о чем думает! Как это прекрасно, что люди думают о природе, живут ею из года в год… Он был не фермером, а бизнесменом, менеджером, а также садовником-декоратором. Его отец был здесь фермером когда-то. И его восьмидесятилетняя мать была теперь, овдовев, главой большой семьи. Все они были здоровыми, ширококостными людьми. Очень радушные, они всегда хорошо относились к Весу, к его первой семье, потом и ко мне. «Покупайте землю! Покупайте землю!» — вечно советовал он мне, когда я еще была в состоянии что-либо покупать. Но мои принстонские банкиры и советчики смотрели на Висконсин как на «глухую провинцию сыроварения», где нам делать совершенно нечего… Как повернулось все. Как изменились ценности. Как нужно мне сейчас было именно это — забвение и покой на природе.

Странно, странно было думать обо всем этом в комнате московской гостиницы, лежа на кровати, прижимая к себе пекинку Маку. Но в моей жизни давно уже ничего не назовешь странным. Новые страницы были впереди. Новый поворот — к чему? Куда? Как он произойдет, и не вылечу ли я вообще из пролетки на его крутизне?

Ольга поддерживает меня в оптимистическом настроении. Она уже собрана в дорогу, все уложено, и она счастлива. Грузинские друзья из представительства принесли ей огромный букет красных гвоздик. На ее аэрофлотском билете значится: «Миссис Ольга Питерс», и она заливается смехом по этому поводу. Ах, все равно. Миссис Питере, советская гражданка, едет в квакерскую школу в Эссексе, в Англии. Как только она пересечет границу, все эти глупости советского МИДа потеряют всякий смысл, и она снова превратится в американскую школьницу, в то, что она и есть.

Ее провожают в аэропорт ее «прекрасные витязи» — дядьки Аллилуевы. Мы все едем вместе и ждем, пока она не отправляется в самолет. Потом — нам всем становится не по себе, особенно мне. Быть здесь без Ольги совершенно неестественно и превыше моих уже и так небольших сил.

Я зову братьев в свою гостиничную комнату — это наш последний совместный ужин… Как-то тяжко нам. Я умоляю их не приходить меня провожать завтра — мне будет совсем скверно. В шутку я говорю им, что еду совсем, как у Маршака: «картина, корзина, картонка и маленькая собачонка». Мы пытаемся смеяться, но не можем.

Мои братья так хороши собою, так напоминают мне мою тетю Анну, сестру мамы, и дядю Павлушу, ее брата… Я с ними в семье — как не была с самого детства. Они были внимательны, переворошили для меня кучу старых фотографий, были исключительно добры с Олей, но, по-моему, понимали, что нам здесь — не жить. Они тактично молчат и не поднимают «жгучих вопросов». Я пытаюсь нарисовать им жизнь в сельской местности в Висконсине — которая ждет меня, — и они с удивлением слушают… Америка всем здесь представляется страной небоскребов. Я тоже думала так, когда приехала в Нью-Йорк двадцать лет тому назад. Братья так обаятельны и красивы, кажется, что лучших людей нет на свете. И я их никогда больше не увижу. Буду только хранить память об этих последних днях, проведенных вместе.

* * *

Утром меня везет на аэродром милый молодой человек из грузинского представительства, тот самый, который вчера отвозил Ольгу. Я не хочу больше никого видеть сегодня, потому что боюсь эмоций и слез. Мне и так уже хватает. Маку я держу в руках. Она чувствует важность момента и ведет себя хорошо.

Перед отъездом из гостиницы в вестибюле меня ждет представитель МИДа, который просит «сдать все советские документы». Я отдаю все это ему безо всяких возражений — паспорт, пенсионную книжку. Он сообщает мне, что Ольгу вчера встретили посольские в Лондоне и что ее отвезут в школу. «Такая приятная, умная девочка!» — говорит он с искренним чувством, и я ему так благодарна.

В аэропорту меня встречает наша милая дама из американского консульства, чтобы проследить, что я действительно сяду в самолет и вылечу. В моем американском паспорте нет визы, поэтому меня должны провести в самолет представители МИДа. Это — глупо, но МИД решил принципиально занять «такую позицию». Дама смеется над этим и вручает мне картонную коробку с круглыми отверстиями, в которой я должна буду нести Маку, Собачка начинает сопротивляться, и картонка прыгает в моих руках. «Вы можете держать ее на коленях в самолете, это разрешено», — говорит дама, и я благодарю ее хотя бы за то, что этот цирк с собачонкой не будет слишком глупым. Впрочем — никто не удивится этому нигде, кроме как в Советском Союзе.

Толстый молодой человек из грузинского представительства достает большой носовой платок, так как он собирается плакать: слезы уже наполнили его большие карие глаза. Я обнимаю его и целую в щеку. Он плачет. Я не плачу. Мне хочется лишь скорее выбраться отсюда.

Наконец — взлет. В Цюрихе надо пересесть на самолет на Чикаго. Я ничего не чувствую в этом недолгом перелете, кроме тепла и покоя кабины, и Мака спокойно свертывается калачиком у меня на коленях. Она, оказывается, приятная компаньонка и даже чем-то помогает мне в этом грустном полете. Я только чувствую пустоту в сердце.

Через три часа мы приземляемся в зеленой, приветливой весенней Швейцарии — ах, опять апрель, как тогда, в 1967-м… Давай, давай, мой безумный драматург, какие еще параллели ты мне можешь подкинуть?

Как бы я хотела остановиться здесь и отправиться во Фрибург, и хоть на недельку задержаться в том монастыре Святого Посещения. Куда там! Мой драматург решил теперь иначе.

В Цюрихе — приятный сюрприз. Меня встречает улыбающаяся агент компании «Свисс-Эйр», которую предупредил их представитель из Москвы, чтобы она помогла мне с пересадкой. Как это славно! Я — в растрепанных чувствах, с картонкой в руках, где бьется негодующая Мака, и мне так нужна

помощь, ее молодое, улыбающееся личико. Она спрашивает, ведя меня в надлежащем направлении, бывала ли я в Швейцарии? Ну, не рассказывать же ей всю эпопею двадцатилетней давности, когда она была еще ребенком… Я только говорю с чувством: «О, да! Чудесная страна, чудесная страна!»

Мы прогуливаем не совсем твердую на ее миниатюрных лапках Маку, а потом я сижу в салоне и жду своего самолета на Чикаго. У меня стучит сердце, и я думаю — молю Бога — чтобы мне завершить без осложнений этот долгий перелет, который продолжится еще восемь часов.

Наконец-то мы с Макой в другом просторном, комфортабельном самолете «Свисс-Эйр», и нам отводят место, где Мака не будет бросаться на пассажиров. Она почему-то становится агрессивной и противно гавкает на хорошеньких стюардесс. Однако это их не сердит. Ах, да, здесь же не сердятся на такие вещи, здесь вас обслуживают, здесь — сервис, положенный и вам, и вашей собачке. Я успокаиваюсь наконец и начинаю понимать, что мы пересекли все рубежи, что мы — в другом мире, что мы уже всегда теперь будем находиться в другом мире и что мне пора привести себя внутренне в порядок.

Я усаживаюсь поудобнее, кладу Маку себе на колени, закрываю глаза — и вдруг чувствую, как отпустило нас напряжение, как уходят в никуда все страхи.

И мне становится хорошо и легко, как уже не было давным-давно.

ЭПИЛОГ

Только обосновавшись наконец в маленьком домике, на полуразрушенной ферме, затерянной среди лесов, стало возможно успокоиться и перевести дыхание. Да, не зря местные жители считают, что этот район обладает целительными свойствами. Трудно было сейчас поверить, что произошло с нами обеими за последние восемнадцать месяцев. Путешествие на родину выглядело сумасшедшим поступком — но не надо сожалеть об этом.

Никогда не надо сожалеть о том, что случается с нами, даже о самом наихудшем. Потому что все имеет свое место в общей картине жизни и судьбы. Мне надо было увидеть снова детей, родные места и старых друзей. Оле надо было узнать важную часть ее собственного наследия. Без этих восемнадцати месяцев ее жизнь, как и моя, были бы неполными, незаконченными, и даже — неестественными.

Трагедия состоит в том, что людей в советском обществе давно уже лишили их естественности: иначе как же объяснить то, что мы получили от самых дорогих и близких нам? И как сказал католикос Грузии, нам следовало не сердиться на них за это, а глубоко жалеть их исковерканные души, не знающие любви, не ведающие прощения. Другие были естественнее — с ними не «поработала» советское правительство, и они не стали жертвами пропаганды.

Я испытывала что-то вроде катарсиса. Факты приходилось принять такими, каковы они теперь были для меня, шестидесятилетней матери и бабушки. Тихими вечерами, под неумолкаемые клики птицы, называемой козодой жалобный — whip-poor-mill, под тихими звездами, светившими на этот мирный уголок суматошной Америки, я постепенно приходила в себя.

Козодой этот появлялся регулярно, каждый вечер с наступлением темноты и сидел где-то совсем рядом с небольшой террaской, смотревшей в лес, на невысокие лесистые холмы, на зеленую долину. Его клик — особенный, с каким-то вопросительным знаком в начале, а потом и с ответом. Долгий такой клик, а когда он повторяется сотни раз без конца — он убаюкивает и приводит вас в состояние глубокого внутреннего мира. Ну вот, даже птицу Господь послал такую, как надо, — так перестань скорбеть и болеть душой! Благодари Бога за все, что дал тебе, за все, от чего спас, за все, чем можешь быть довольна в свои-то годы.

Весна в этих краях была действительно пышной. Началась

она с нежных зеленых листков, покрывших деревья на до той поры серых холмах. Потом бурно зацвели дикая вишня и дикая слива — белыми пятнами среди лесов. Земля покрылась фиалками, вдруг все зазеленело вокруг, старая яблоня гнулась под обилием цветов, и солнце становилось днем горячим, намекая на близость лета.

Эта первая Весна Возвращения была какой-то необыкновенно утешительной, врачующей, и все говорило о продолжении жизни, о счастье жить и видеть вокруг эту красоту. Оля писала из Англии, как рада она снова быть среди своих одноклассников, — ее поместили вместе с ними, хотя она пропустила полтора года: школа верно решила, что быть вновь вместе со старыми знакомыми будет хорошо для нее, а программу она потом наверстает.

Теперь только я узнала — из бесчисленных газетных вырезок, присылаемых мне друзьями отовсюду, — как ее встретило телевидение по приезде из СССР. Как очаровала всех пятнадцатилетняя девочка, как хорошо она держалась. Она сделала заявление с мудростью повзрослевшего человека, сказав: «Это было необыкновенно интересным опытом для меня, и я не сожалею ни об одной минуте… Не каждому школьнику приходится узнать три разные страны, побывать в трех самых важных странах мира». Она плакала, сжимаемая в объятиях одноклассницами, школа и ее директор тоже попали в газеты — она сумела сказать добрые слова о школе, создать ей хорошую репутацию, и это было благодарностью за широко открытые двери для ее возвращения. Красивое ее личико с белозубой, фотогеничной улыбкой обошло в те дни все газеты, и наконец я могла полюбоваться ею. Ибо в тот момент, когда в Англии и в США ее возвращение было в новостях на всех экранах телевизоров, я была еще в Москве — отрезанной от остального мира — и ничего не знала. Мне лишь было передано на следующий день, что она «долетела благополучно».

Меня тоже искала пресса, но маленький дружественный Спринг-Грин (население полторы тысячи человек) не выдал моего местонахождения, и вскоре эти домогательства стихли.

Летом Оля приехала сюда на каникулы и дала лишь одно интервью небольшой газете «Пресса Эвансвилля», которую основал в 1911 году ее дед Фредерик Ромер Питерс в своем родном городе Эвансвилле, Индиана. Мы позвонили редактору все еще существующей газеты и сказали, что из всех остальных предпочитаем разговаривать с ними — и они были в восторге. Приехали в Спринг-Грин, взяли с собой Олю в Эвансвилль, где она познакомилась со все еще живущими там родственниками, и

газета дала о ней полосу с отличной фотографией. Жаль только было, что мои надежды не оправдались: я полагала, что тут было уместно рассказать и об ее американском дедушке, отдать должное его жизни и долгому служению хорошей, прогрессивной в свое время газете — так сказать, поднять и американские корни Ольги Питерс. У нее очень хорошие американские корни, семью Питерсов можно кратко описать как очень достойную, трудолюбивую семью со Среднего Запада Америки, завоевавшую себе отличную репутацию: такая репутация ценится в Америке больше всего. Газета долго принадлежала членам семьи Питерсов, но недавно перешла в другие руки.

Увы! Газета почти ничего не сказала о дедушке Питерсе, но поместила рядом с Олиной фотографией, конечно же, фото ее другого знаменитого деда. Без этого они просто никак не могли! Но зато Олины собственные впечатления от поездки в СССР были изложены довольно подробно. Важно было, что она — после поездки в СССР — повидала, наконец, и маленький среднезападный город своих американских предков.

В это первое лето по возвращении в США мы обе восстанавливали связи со старыми друзьями на Восточном и Западном берегу, часто искренне недоумевавшими, почему мы выбрали эту далекую «провинцию сыроварения» — единственное, что горожане обоих берегов знают о Висконсине. Но нам было хорошо здесь, и вскоре мы купили небольшой дом в лесу — чей-то «охотничий домик», — в местах, где охотятся на оленей, диких индюшек, тетеревов и куропаток. Оле так хотелось считать эти места своей родиной.

Я же никогда не забывала одного часа — скорее момента, пережитого в этих краях много лет назад, когда я была замужем за Весли и у нас была здесь своя маленькая ферма.

Летом 1971 года, я сидела однажды вечером на передней террасе этой фермы с трехмесячной Олей, засыпавшей на руках. Огромный ирландский волкодав лежал у моих ног. Я покачивалась в старом деревянном кресле-качалке и смотрела на дорогу и долину, расстилавшуюся перед нами. Был тихий вечер, и все окутывал золотой свет предзакатного солнца. По дороге возвращалось домой большое стадо, позванивали колокольчики на ошейниках коров. Вдалеке на дороге я видела фигуры Весли и его тридцатилетнего сына: они стояли, засунув руки в карманы брюк, обсуждая дела на ферме. Качалка тихо покачивалась, Оля мирно спала, и я думала, что вот он: наивысший момент моей жизни. У меня есть семья, я — дома в этой стране, и вся моя жизнь теперь будет одним сплошным мирным днем тихого счастья, как этот вечерний свет. Мне казалось, что ничто никогда

не отнимет у меня той спокойной уверенности, которую я испытывала, сидя здесь, окруженная моей новой семьей, любуясь моей новой страной, такой прекрасной именно в этих краях. Этот момент мира и счастья — наивысшая точка всего моего американского существования — врезался в память навсегда. И хотя сейчас, когда прошло столько лет, уже невозможно было повторить его, все же именно в этих краях я испытала такую необыкновенную полноту жизни, ее красоту, ее щедрость. Все было тогда таким радующим — здоровый ребенок, славный муж, щедрое лето и прекрасные громадные взбитые облака над этой изумрудно-зеленой землей. С тех дней знала я всю эту окрестность, лесные и полевые дороги, знала, где найти полевые и лесные цветы, распускавшиеся одни за другими каждый месяц, знала местных жизнерадостных и добрых людей, находившихся тогда чаще всего за пределами коммуны Талиесин. Но даже и там были добрые души, потому что добрые люди есть повсюду.

В последовавшие за разводом годы мы не раз приезжали сюда с Олей, она любила лагерь верховой езды для девочек, организованный поблизости семьей, которую мы хорошо знали. Я же любила просто бывать и ездить по этим сельским дорогам, как тогда. Наша старая ферма была давным-давно продана, но все же приятно было видеть ее с дороги, по которой мы часто проезжали. Мудрено ли, что я хотела здесь обосноваться, именно в этих местах?

«Разве вам не грустно жить в этих местах былого счастья?» — спросила меня одна американская поэтесса. Я долго объясняла ей все вышесказанное. Горожанка, живущая в Нью-Йорке, она полагала, наверное, что я скрываю «истинные причины». Но я надеялась, что как поэт она должна была меня понять лучше других. Мы были окружены здесь поэзией, красотой и добротой простых людей.

Ну, а что же там, «за железным занавесом»?

Никакого занавеса, конечно, не существует. Он выдуман пропагандой обеих держав, как в этом теперь хорошо убедилась даже Оля. Он придуман для того, чтобы питать взаимные страхи, взаимное недоверие двух больших народов, столь похожих один на другой: а иначе чем же оправдать всю эту «идеологическую борьбу», эту слежку за людьми, всю эту гонку вооружений, якобы для защиты святого отечества?.. «Железный занавес» непременно нужен всем тем, кто существует за его счет — как в СССР, так и в США, всем этим миллионным армиям, всем этим КГБ и ЦРУ, раскинувшимся по всему миру из двух непримиримых политических центров земли… Упразднить бы их повсюду и тратить идущие на них деньги на мирную жизнь. Вот — была бы

истинная перестройка. Может быть, мои внуки доживут до этого.

Еще со времен событий в Чехословакии, двадцать лет тому назад, не переставала я лелеять надежду на нашего, российского Дубчека: на человека нового поколения, который появится в партии окаменевших большевиков. Мне всегда казалось, что глубокий процесс внутреннего роста и недовольства внутри самой этой партии — который был хорошо знаком мне по моим многим друзьям, — что процесс этот неизбежно выведет наверх кого-то, как чешский Дубчек, чтобы преобразовать самое партию, а вместе с нею — и устаревшее, отстающее от мира советское общество.

Горбачева потребовала история, жизнь. Если не он — так кто-либо другой так же неминуемо будет проводить процесс обновления, преобразования, модернизации советской системы. Десять Горбачевых понадобится, чтобы завершить этот процесс, чтобы хотя бы поставить Советский Союз рядом с современными социал-демократиями, с их несколькими партиями, легальной оппозицией, с их свободными выборами, с их демократическими свободами. Много лет пройдет, пока Россия сможет вернуть себе опять славу «кормилицы Европы», которой она была когда-то, с ее щедрым земледелием, находившимся в руках свободных земледельцев. Но и это — придет. Уже слышны слова и обещания и на этот счет. Но дел еще не видно!

Писать книги о «перестройке» куда легче, чем переделывать колоссальную страну, заведенную в тупик той же самой партией, которая и теперь, по-прежнему оставаясь правящей силой, желает все переделать, но вместо признания своей собственной вины за провалы пытается свалить ее либо на своих же «плохих вождей», либо на народ, который де «не умеет работать столь производительно», как это умеют другие народы… А что другие народы пользуются при этом всеми свободами демократии и выбирают ту партию, под властью которой они желают жить, из числа многих других партий и на свободных выборах, — об этом пока еще мы не слышали от современного лидера. Он пользуется такой популярностью за границей, как будто он уже все в своей стране преобразовал.

О, нет, еще очень далеко идти, и еще очень рано трубить победу. КПСС медленно изживает самое себя, но не рухнет так вот прямо, как поверженный дракон, а долго, долго еще будет корчиться, распространяя вокруг все то же ядовитое дыхание обмана и скаля жадные зубы на весь мир.

А многомиллионный народ — терпелив и милостив. Нигде так не прощают, как в России, потому что христианства уничтожить там так и не удалось. Поэтому то, что в другой стране

давно вызвало бы восстание, здесь только огорчает терпеливцев. В Западных странах никак не поймут — как это можно десятилетиями терпеть советский образ жизни?! Даже при всей «гласности» жаловаться-то приходится той же самой правящей партии. Больше идти некуда! Вот когда, наконец, и другие партии там образуются, как это было еще в царские времена, тогда, безусловно, можно будет лицезреть истинную гласность, и она будет приносить свои плоды.

То, что только начинается сейчас в СССР, будет расширяться и продолжаться. Неизбежен процесс истории: советский строй зашел в тупик и должен быть изменен, трансформирован, будем надеяться, — мирным путем, и не потому что «новый лидер» появился, а потому что жизнь и история этого требуют.

Мои внуки и внучки доживут до тех времен, когда поездка за границу будет простым делом покупки билета, когда выйти замуж за иностранца или переехать жить в другую страну не будет больше считаться преступлением перед государством и народом. Жизнь их бабушки тогда будет казаться — из их ретроспективы — странной. Ибо им уже не надо будет бороться с теми препятствиями, которые стояли перед нами в наши времена. Будем надеяться, что страдания и унижения так называемых «дефекторов» уйдут в прошлое. Но, как и для нас, тогда тоже необходимо будет чувствовать себя интернационалистами, чтобы обнять весь мир. Будем верить, что это станет образцом мышления в СССР, где откроют, наконец, границы для свободного путешествия. Нам же приходилось бежать, терять гражданство, подвергаться нападкам пропаганды с обеих сторон, терять детей, дружбу, честное имя, все на свете…

Мои внучки, возможно, не будут знать ничего этого. От имени моего отца их будут отделять два поколения, а их детей — три, и оно не будет доставлять им столько неприятностей и неудобств, сколько доставляло мне: от наивного любопытства до жгучей ненависти. Они смогут жить свободно и так, как им того захочется. Бабушке же приходилось дважды подумать каждый раз.

От меня без конца требовали — в течение всех этих двадцати лет, что я живу вне СССР (а также со дня написания моей первой книги «Двадцать писем к другу»), чтобы я читала биографии Сталина различных исследователей и историков, комментировала их, выступала бы в телевизионных программах, посвященных жизни Сталина, или участвовала в дискуссиях на эту тему. Я никогда не соглашалась на это и не принимала в этом участия. Искать ответов у родственников на вопросы политики больших государственных деятелей — глупо и отдает дурным вкусом. Мы не можем и не должны комментировать политику

этих лиц, знакомых нам с человеческой стороны. Мы только можем говорить о них как о людях — что я и делала в своих глубоко личных книгах. Я сообщаю факты, известные в семье, и стремлюсь оставить для истории эти малоизвестные подробности, так как частная жизнь крупных деятелей всегда подлежит извращению как их политическими врагами, так и всякими неучами и бездарностями. Этой судьбы не избежали ни Наполеон, ни Ленин, ни Гитлер, ни Романовы, ни Рузвельт, ни Сталин. Вступать в спор с серьезными историками, как Исаак Дейтшер или Адам Улам, Джордж Кеннан или Бертрам Вульф, я себе не позволяла: у них есть право на свою собственную концепцию.

Моя же личная концепция состояла и состоит в том, чтобы всегда разделять Сталина на человека и на политика. Первое послужило материалом моих «Двадцати писем к другу», второе — нашло свое место в книге «Только один год». Я старалась не смешивать эти два подхода.

С годами стало возможным сделать какие-то обобщения. Мне думается, что Сталин, конечно, принадлежал Грузии своим темпераментом, наследственностью, характером. Но России он принадлежал как революционер и всем тем, что он узнал и сделал за свою жизнь. Он бросил Грузию рано и полюбил могучую, огромную, жестокую Россию, потому что он любил силу. России он и служил так, как мог, сделал ее индустриальной страной и выиграл победу над нацисткой Германией.

Маршал Георгий Жуков в первом варианте своих мемуаров, вышедших еще при его жизни, отдал дань способностям Сталина как крупного организатора и полководца во время войны. Жуков рассказал также один эпизод, относившийся ко дням победы.

Сталина ожидали в Берлине на Потсдамскую конференцию, он ехал поездом. Приготовили встречу с оркестрами и фанфарами — не без оснований, так как встречали главнокомандующего армией, выигравшей войну. Однако он передал Жукову, чтобы «никакой помпы, никаких оркестров и всей этой чепухи. Мы должны немедленно же начать работу». Его встретили в рабочем порядке и поехали на переговоры по условиям мира. Так оно было. Портрет Сталина в мемуарах Жукова был в высшей степени положительным. Позже, после смерти Жукова, военная «редакционная коллегия» внесла значительные перемены в текст и выбросила эпизод с приездом в Берлин.

Политики всегда занимаются подтасовкой фактов истории в своих интересах; Сталин делал то же самое с историей партии. Но он был не одинок в этом, как был не одинок во всем, что совершила партия за свои семьдесят лет. В условиях

коллективного руководства, осуществляемого Политбюро ЦК, все до единого должны подлежать моральной ответственности за все деяния партии. Коллективно была достигнута победа, коллективно организовывался и осуществлял свои расправы ГУЛАГ. Я считаю партию ответственной за все то, что приписывается сейчас одному лишь Сталину. Мое мнение разделяют многие. Это — не «защита», а историческая объективность.

Дождемся мемуаров А. И. Микояна, Н. А. Поскребышева, К. Е. Ворошилова и многих других. Я читала во время поездки в СССР мемуары маршалов и конструкторов армии: они разделяли точку зрения Жукова. Оценивать лидеров такого крупного масштаба должны люди хоть сколько-нибудь приближающиеся сами к такому масштабу, крупные деятели, как Черчилль, Рузвельт, де Голль. Поэтому для меня их оценки имеют значение. Мнениями же академиков, журналистов и писателей, никогда не являвшихся лидерами больших стран, я позволю себе пренебречь.

В Америке я не видела серьезного изучения истории и культуры России и ее национальных «окраин», вернее, республик. Отдельные работы таких крупных историков, которые были упомянуты выше, стоят в стороне. В массе своей американцы не знают, что такое СССР, что это — колоссальная страна, так похожая на Соединенные Штаты своей многонациональностью, своим характером, темпераментом и многими историческими обстоятельствами. Почти трехсотмиллионное население Советского Союза все еще рисуется среднему американцу как серая сплошная масса «русских коммунистов», с жадностью стремящихся захватить весь мир, уничтожить Америку и частную собственность, и живущих на коммунальных началах. Первая же поездка в СССР вызывает шок: оказывается, что люди там такие же, как здесь, что к Америке они относятся с нескрываемой симпатией и что взаимопонимание не представляет больших трудностей — если вам повезло разговаривать с нормальными людьми, а не партийными бюрократами. Нет нужды высмеивать невзрачную одежду советских граждан и недостаточное количество личных автомобилей… Качество ума и способность к интуиции весьма высоки там, где талантов не занимать — как в искусстве, так и в науке.

Мне всегда делается не по себе, когда элегантные представители американского телевидения охотятся на улицах Москвы за малограмотными толстыми бабками, чтобы спросить их через неважного переводчика, что они думают о «перестройке». А почему бы не задать этот вопрос тем, кто достаточно образован для такого ответа: экономистам, ученым, исследователям, кто

неплохо может говорить по-английски? Почему надо представлять себе Россию все еще в образе «бабки в платочке», когда эта бабка уже имеет внуков, возможно закончивших Институт иностранных языков или Институт внешней торговли? Что-то еще так убого и заторможено в этих официальных «контактах», где каждое слово немедленно же бросают на экран телевидения во всей Америке.

Поэтому-то радуюсь я, что повезла с собой свою дочь-подростка, и она своими глазами увидела жизнь и людей в Советском Союзе такими, каковы они и есть на самом деле. Теперь ее уже никакая пропаганда — ни оттуда, ни отсюда — не переубедит. Хотя американская пресса не поскупилась на темную краску, обрисовав меня как мать-злодейку, однако Оля получила свои собственные впечатления о России благодаря этой поездке. И может быть, вскоре можно будет ездить туда и обратно, не приводя этим в сенсационную панику газеты и телевидение: почему, в самом деле, они заимствуют этот показной «патриотизм» у советских? Мы поехали в СССР: так в чем дело?

Где-то там, далеко, если взглянуть на карту, но не так уж далеко от американской Аляски находится советская Камчатка, где работает мой милый геофизик-вулканолог, старшая дочь Катя. Где живет моя внучка Анюта. Я люблю географические карты. Люблю большие расстояния и просторы. Как легко смотрят две страны друг на друга — всего лишь через небольшое озеро — Камчатка и Орегон, Вашингтон, Аляска — когда-то вообще русская земля… Вот там-то и будут проходить будущие линии всевозможных коммуникаций — от науки до торговли, от рыболовства до вулкановедения… Почему бы моей Кате не переехать через Тихий океан и не взглянуть на Маунт-Хелен, американский вулкан, он ведь такой же, такой же…

Так хочется, чтобы две сестры, столь похожие друг на друга и внешностью и внутренне, увиделись бы когда-нибудь — без вражды, без пропагандистских усилий со стороны обоих правительств, или КГБ и ФБР, стоящих за их спинами, без ненависти. Тогда работа каждой из них зазвучит своим голосом и вольется в общий поток человеческих усилий за лучшее будущее.

Я рада, что могу думать о них обеих подобным образом. Надо «оторваться» от всего личного и от неприятных воспоминаний, чтобы увидеть их, хотя бы в воображении, вместе. А внучки, конечно, будут так же спорить с матерями и поступать по-своему, как это делали их мамы. И моя мама, Надя Аллилуева. И ее мать — Ольга Аллилуева.

Надежда автора состоит в том, что вскоре книги начнут мигрировать по свету куда быстрее, чем люди. И мемуары моего

поколения приобретут некоторую ценность в глазах тех, кто не знал наших времен. Они помогут тогда понять не столько другую эру, сколько иных людей. И все внучки — совсем не обязательно только мои — найдут тогда на этих старомодных страницах странные, неправдоподобные ситуации, а также некоторые знакомые лица.

Висконсин, США, 1988

notes

Примечания

1

Н. В. Крандиевская. «Дорога». Сб. стих. Л., 1985.

2

«Двадцать писем к другу», 1967, США. «Только один год», 1969, США. «Далекая музыка», 1984, Дели, Индия; 1988, США.

3

Те, кто знаком с Терри Вейтом, не могут и помыслить о каком-либо ином исходе этого пленения, как только о победе духа над оружием. Как пророк Даниил, Терри Вейт пройдет и сквозь пламя печи, и через яму со львами, и его вера спасет его, хотя он не священник, а мирянин.

People. Anthology. Chatto Windus, London, 1983.

5

Официальный выход наш из гражданства СССР занял потом два года и завершился наконец 7 апреля 1988 года, когда мы уже вернулись в Америку.

6

Все это я узнала позже, по возвращении в США через два года.

7

Информант КГБ, по свидетельствам некоторых лиц. См. гл. 10.

8

В Грузии существуют школы как на русском, так и на грузинском языках, но институты и университет — на грузинском. Хотя все образованные люди в стране хорошо говорят по-русски, грузинский язык всегда предпочтительнее.

9

В годы 1951-1954-й я готовила диссертацию по русской литературе в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

10

В числе свидетелей, предоставивших материалы, — их был длинный список — было упомянуто и имя Надирашвили. Значит, его давнишний враг действительно не нашел и не поймал его. Я никогда больше о нем не слышала и не видела его, но было приятно знать, что он не погиб.

11

В том числе и открытку Терри Вейта. Потом от него пришло очень дружеское короткое письмо.